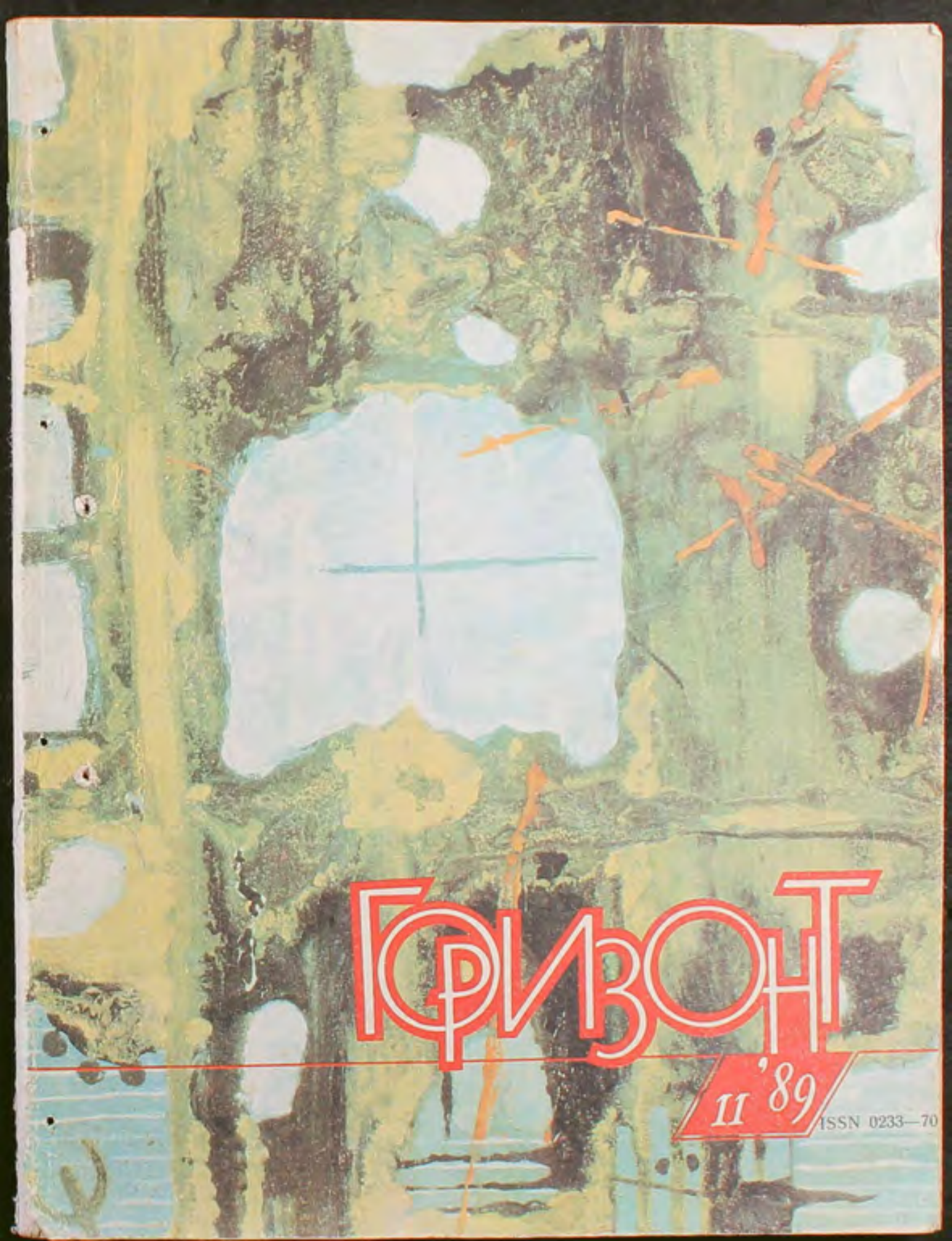


ISSN 0233—70

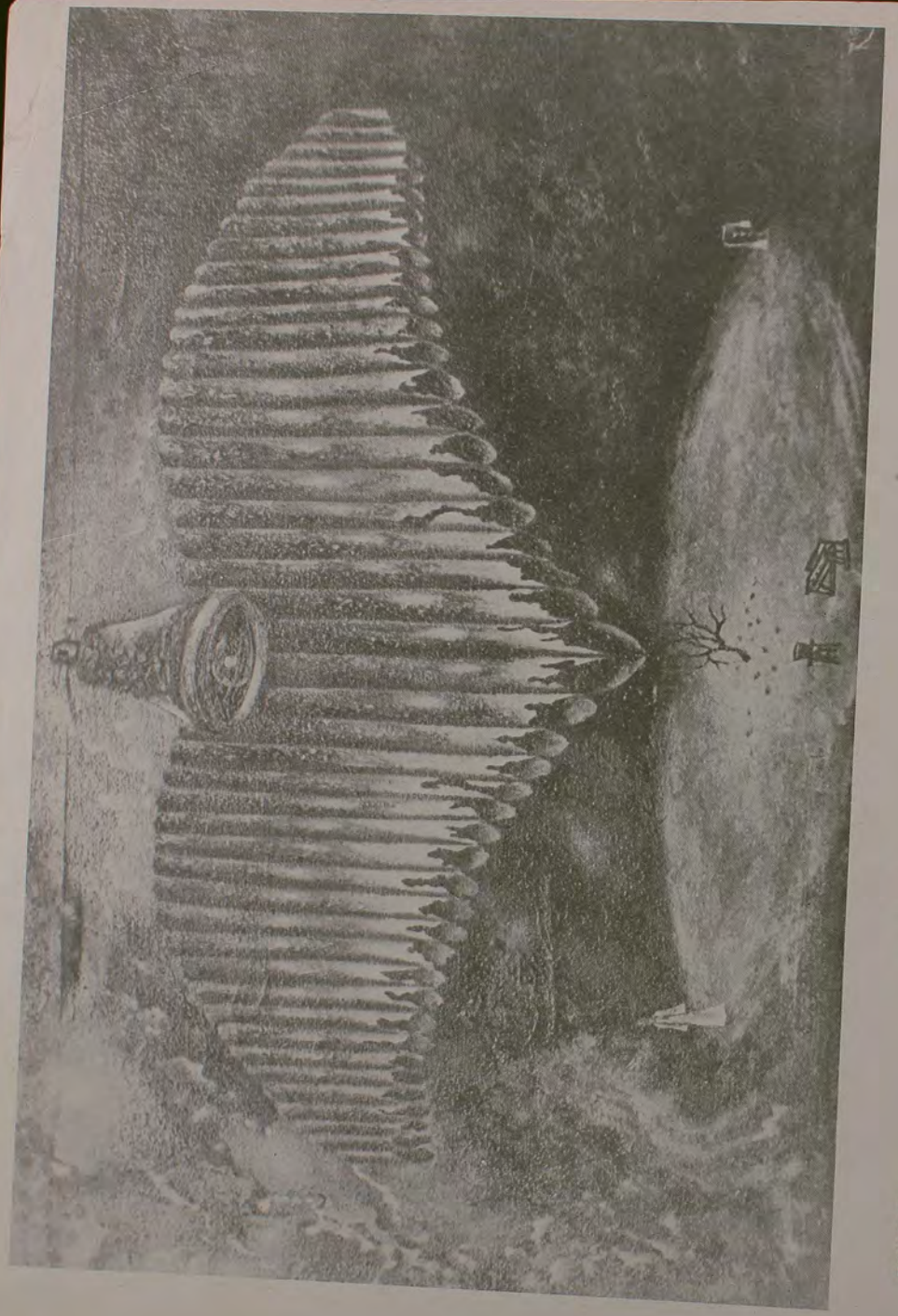


Рис. Иона ПУЮ

ВЕЧНОСТЬ

2 — Новые стихи
Иона ХАДЫРКЭ

5 — ПРОЩАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ (отрывки из повести)
Виктор ДУМБРЭВЯНУ

21 — ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ
Михаил ХАЗИН

32 — Библиотека «Серебряного века»:
Владислав ХОДАСЕВИЧ

37 — Фантастика • приключения
ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ
Л. ЛУКИНА, Е. ЛУКИН

41 — Обзор поэтической почты

45 — ПИНАКОТЕКА
Михаил ГРЕКУ

53 — ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА
(Окончание)
Александр СОЛЖЕНИЦЫН

80 — ТРАГИЧЕСКАЯ МЕТАМОРФОЗА
(Документальная хроника Бессарабии в год испытаний)

88 — СПЯЩАЯ СОБАКА
(Окончание)
Агата КРИСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

● **ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЗНАТЬ И ОСВОИТЬ**
● **основные приемы общения с людьми**
● **шесть способов расположить к себе людей**
● **семь правил для того, чтобы сделать вашу семейную жизнь счастливее**
● **девять способов изменить человека, не нанося ему обиды и не вызывая негодования**
● **двенадцать способов склонить людей к своей точке зрения**

● **ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «ГОРИЗОНТ» В 1990 г. КНИГУ «КАК ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ И ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ» В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО.**

Книга написана ректором американского Института ораторского искусства и человеческих отношений Дейла Карнеги более полувека тому назад. Она стала «бестселлером» сразу после выхода из печати, выдержала свыше 100 изданий в США и переведена на 30 языков. Она была задумана автором как практическое руководство в деловой и общественной жизни для того, чтобы помочь людям открыть и развить в себе способности наладить отношения доброго сотрудничества в новых условиях, обрести уверенность в своих силах, решать ежедневные проблемы взаимоотношений с другими людьми.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ «ГОРИЗОНТ» В 1990 ГОДУ.

НА ПЕРВОЙ ОБЛОЖКЕ: из творчества художницы Валентины БАХЧЕВАН

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГОРИЗОНТ

НОЯБРЬ
№ 11 (65)

Литературно-художественный общественно-политический иллюстрированный ежемесячный журнал ЦК ЛКСМ Молдавии и Союза писателей Молдавской ССР

Журнал выходит на молдавском и русском языках.

Издается с июля 1984 года

Главный редактор
Виктор ДУМБРЭВЯНУ

Редакционная коллегия
Дмитрий АГАПИ,
Аурелиу БУСУЙОК,
Юрий ВИТИОН,
зам. главного редактора
Эуджен ЛУНГУ,
Василе РОМАНЧУК,
Константин РУСНАК,
Ион ФУРТУНЭ
(ответственный секретарь).
Тамара ШМУНДЯК,

художественный редактор
Андрей ЦУРКАНУ
Технический редактор
Виктор КУТУРЯНУ
Корректор
Валентина СКОРОХОД

Адрес редакции: 277012, Кишинев, ул. Комсомольская, 50
Телефоны:
приемная,
главный редактор 22-25-34;
отдел переводов: 22-19-44;
ответственный секретарь и отдел литературы: 22-23-67; отделы публицистики, коммунистического воспитания и сектор искусств: 22-61-56.
Рукописи не возвращаются.
Сдано в набор 10.09.1989.
Подписано к печати 22.11.1989.
АБ 00453.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 14,7.
Усл. кр. оттиски 16,10.
Тираж 38 225 экз. Цена 60 коп.
Зак. 4553.
Подписка на год — 7 руб. 20 коп.
Ордена «Знак Почета» тип. Издательства ЦК КП Молдавии. 277612, Кишинев, ул. 28 Июня, 45.

Ион ХАДЫРКА

ПИСЬМА

Осень шлет мне нежное письмо.
Падают листья.
Милая мне пишет о любви.
Краснеют листья.
Мама прислала сердце в конверте.
Седеют листья.

ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Будто стекла запотели
Встал над травами туман.
Выдувает из свирели
Звезды на небо чабан.

С музыкою слиты губы,
Флуер слышится селу,
И колодезные срубы
Снова выпускают мглу.

И смолой налились тени,
И уже черны кусты,
На скирдах, в душистом сене
Светят ящериц хвосты.

Месяц вышел на дорогу,
Стала светлой неба мгла,
Будто к сумрачному стогу
Мюрица подошла.

РИТУАЛ

Обратясь к языческим богам,
Падаем мы к глиняным ногам.
Жалкими и маленькими став,
Прижимаем тело к телу трав.
Голову склоняем до земли,
Но в мольбе,
В ничтожестве,
В пыли
Обретаем синий небосвод,
Ожидаем крылья
И полет.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я чувствую, как набухает семя,
И новый корень первый свой виток
В земле закончил. Это через время
Наощупь к солнцу двинулся росток.

Мой край проснулся, и запели птицы,
И над травой рассеялся туман,
И четко обозначились границы –
Седые горы, синий океан.

Земля моя, весенние просторы,
Где слышен звон металла с давних пор.
Нам нужен мир, чтоб круг старинной хоры
Не разорвал взметнувшийся топор.

Чтоб расцветала яблоня в апреле,
Блестел родник, стекающий в овраг.
Нас воспитали песни колыбели
И треск огня, что согревал очаг.

Я чувствую в груди огонь и слово,
Весенний день – грядущего пролог,
В твоей земле, весенняя Молдова,
Проснулся, к солнцу тянется росток.

ГОЛОСУЮ

Иону ДРУЦЭ

Опять вопрос, похожий на допрос,
Мне задает высокая персона,
Цепляющаяся за время оно,
Которому давно пора на снос.

Он все еще читает между строк
Мою незащищенную анкету,
Он выучен не доверять поэту,
Порок, себя ведущий, как пророк.

Опять вопрос, оплаченный судьбой:
– Стихи согласовал с какою службой?
– И что за пушка у тебя под кушмой?
– Куда зовешь? Кто заодно с тобой?

Опять мне говорят: – Смирись, чудак.
Нет мира без обмана и насилья.
Не остановишь мельничные крылья.
И снова тянут в немоту, во мрак.

Но хватит быть подобием травы,
Бояться лицемерного коварства
И прятать взгляд, когда у государства
Лжецы срывают шапку с головы.

Довольно душу усмирять и ум
В краю, где стали нормою измены,
Где только и покажут, что со сцены
С национальной вышивкой костюм.

Где главное – припудренный парик,
А рот пусть сохраняет привкус тины,
Затем, что появляются трясины
Там, где зубами стиснули язык.

Как делать вид, что не заметил зла,
Когда на яблоне дичают ветки,
И покидая свои гнезда, предки
По-птичьи улетают из села?

Остались отпечатки их борьбы –
Война и голод, первые колхозы.
И плачут неухоженные лозы
Под кровлею родительской судьбы.

Как делать вид, что нет моей вины
В том, что, наполнив сердце звоном битвы,
Мы позабыли музыку молитвы,
В том, что страну изгнали из страны?

Как можно находиться в стороне,
Когда бедою сделались заботы
И на поминках слышишь анекдоты,
И свадьбы затопляются в вине?

Обычаи, затоптанные в грязь.
Душа, утратив опыт многолетний,
Привыкла, что владычествуют сплетни
Там, где к неправде прибегает власть.

Суровый век, ты был ко мне жесток.
Что я оставлю дальнему потомку?
Иду по свету и несу котомку,
Связав свои обиды в узелок.

Мне стыдно, что долины и леса
Мы превратили в голые пустыни,
И что по ветке высохшей полыни
Отравленная катится роса.

Я голосую за свои права,
За то, чтоб чистым было вод движенье,
Чтоб языку эпохи возрожденья
Вернули неувядшие слова.

Сжимаю пальцы в поднятой руке.
Согласен испытать любую пытку.
Но дайте мне последнюю попытку –
Петь и рыдать на этом языке.

МАЙСКОЕ КОЛЯДОВАНИЕ

Над ковром Молдовы вешней
Вновь восходит цвет черешни.
Все вокруг белым - бело –
Солнце яблони взошло.

Май приходит торопливый –
Расцвели над крышей сливы.
Белый дом и белый сад,
Белый у людей наряд.

Солнце, солнце, это ты
Подарило нам цветы.
Горяча твоя ладонь,
Тронешь – вырвется огонь.

От села и до села
Родина венок сплела.
Это белый месяц май
Осенил отцовский край.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Святая Мария
В библейской дали
Исчезла
И снова явилась.
Как милость.
И через тысяча восемьсот пятьдесят перелетов земли
Среди всемирного зла
Ощутила тоску
И зачала
Эминеску.

ЖУРАВЛИНЫЕ КОЛОДЦЫ

Там, где пели мы веками,
Песни стали родниками.
Стало песенное эхо
Тенью липы и ореха.

Я пою, мой тихий голос
Затвердел в зеленый колос.
Превратился в лес зеленый.
Лес – колодец мой бездонный.

Лес, потухли твои травы,
Обмелел родник дубравы,
Улетела жердь из дуба,
Сухо в темном горле сруба.

Улетела жердь из ели,
Там, где мы с тобой сидели,
Там, где воду из ладоней
Осторожно пили кони.

Где сухие жерди – птицы,
Что стояли у криницы.
Деревянной стаей стали
Журавли моей печали.

ДОМ МОЕГО ДЕТСТВА

Дом с разросшимся орехом,
С виноградом на стене,
С теплым сумраком в окне.
Стал ты эхом.

Дом с покинутым гнездом
Под скосившейся стрехою,
С будкою для пса глухою.
Домище,
Мой первый дом.

Заглушал тебя бурьян,
Ветер сек, острее бритвы.
Превратился ты в туман,
Стал мелодией молитвы.
Дом с поломанным ведром.

СУДЬБА МАТЕРИ

Мама,
Теплый сумрак на печи.
Снега свет
И темный свет свечи.
Ты уходишь
Или ты пришла.
Чтобы сесть у краешка стола.
Расскажи мне о своей судьбе,
Не сказав ни слова о себе.

СЫНУ ПРИ РОЖДЕНИИ

Сын родился.
Наконец, сынок, —
Из небытия
На мой порог.
Сын родился.
Стал светлее дом.
Встретились
Во времени одном.
Встретились
Ребенок и отец.
Встретились в пространстве.
Наконец.

ПРИЗНАНИЕ

Пишу стихи, кричу или молчу
Лишь для тебя я,
Зажег столетья прошлого свечу
Лишь для тебя я,
Храню в душе звезды летящей след
Лишь для тебя я,
Чтоб нас с тобой объединил секрет
Небесной дали.

Дыханьем не наполнится сонет.
Что без тебя он?
Бессмыслен путь, ведущий в бездну лет.
Что без тебя он?
Огонь, которым мой очаг согрет.
Что без тебя он?
И за спиною остается след
Моей печали.

Захочешь пить — росинкой стану пусть,
Лишь для тебя я.
В неурожай краюхой обернусь
Лишь для тебя я,
Сгорю, чтобы во тьме зажечь зарю
Лишь для тебя я.
Единственное сердце подарю.
Другого нету.

Мы искупаем первородный грех,
Искус запрета. Тот плод,
Он с древа сорван был для всех.
Мы знаем это, И я делю с тобою этот миг
И вечность эту,
Когда возникла ты и я возник,
Как по завету.

ГОРОДСКОЙ РЕБЕНОК

Ребенок в хаос превращал квартиру,
Он дом
Переворачивал вверх дном.
А как иначе будешь жеребенком?
Как уместить леса,
Луга,
Дороги
Провинций дальних
В городской квартире?
И превратиться из коня
В ковбоя,
Стать после
Фантастической машиной
В ином пространстве,
На краю вселенной
И возвратиться
На родной порог.

Отец ребенка —
Человек серьезный.
Чиновник он,
К тому же при чинах.
Ему нельзя стать тоже жеребенком,
Ковбоем запрещают становиться,
Машиною стать также не велят.
Он на Бюро.

Но есть еще и мама.
А мама возвращается с работы
И делается в миг домохозяйкой,
А значит, превращается в машину,
Но дома своего не покидает.
Стиральная машина не летает.

И только мальчик получает крылья
С семнадцати ноль-ноль
На два часа.

Перевод
Рудольфа ОЛЬШЕВСКОГО

Виктор ДУМБРЭВЯНУ

Прощальные страницы

ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ

После еды я не мешкая встал из-за стола, поднялся на цыпочки, присел, сделал легкую разминку — и сразу за уроки. До половины восьмого надо успеть заглянуть в учебники. Понятное дело, не самое приятное занятие между тренировкой и свиданием с обаяшечкой. Да что поделаешь, проза жизни.

Листаю учебник геометрии, пытаюсь вникнуть в теорему о параллельных линиях, да что-то не получается. Как ни продолжай прямые АВ и СД в той же плоскости, они никогда не пересекутся ни в одной точке. Ясно, как божий день. Но какое мне дело до двух бесконечных линий? Для меня АВ и СД скорее два человека. Мама и папа — разве они не две параллели, которые нигде не пересекаются. Вот куда завела меня теорема. Рассмотрим, что помешало им жить под одной крышей, почему им так захотелось стать непересекающимися АВ и СД...

Нет, это не учеба. Хватаюсь за другой предмет, пробую стряхнуть с себя всю муру. Считаю до десяти и мысленно приказываю себе — хватит бредятины, зачеркиваю чепуху и беру чистый лист бумаги. Готовлюсь к урокам, как примерный ученик.

Закругляюсь с уроками и собираюсь погладить брюки. Как раз в эту минуту мама возвращается с работы и мгновенно оценивает обстановку. Я стою с утюгом в руках, на столе распластаны брюки.

— Что на тебя напало, сынок?

— Да вот решил провести субботник по благоустройству собственной внешности.

— Субботник твой связан с наступлением весны? — не унимается мама.

— Все знаем, ничего не скажем.

Я попробовал утюг влажным послюнявленным пальцем, он зашипел, готовый провести стрелки на моих брюках. Но мама удержала меня.

— Брюки надо гладить через тряпочку, а то начнут блестеть.

— Пардон, я этого не знал.

— Теперь будешь знать.

Погладив брюки, я вытащил из шкафа розовую рубашку, последнюю из подаренных отцом (Единственное, в чем мой папа разбирается, это рубашки. Поэтому он мне их всегда покупает. Правда, обычно он меня спрашивает, какую бы мне хотелось?

Я каждый раз изворачиваюсь, дескать, не хотелось бы вводить его в расходы, но он хлопает меня по плечу с напускным задором: «не скромничай, а то обижусь». И мы отправляемся в универмаг, поднимаемся по лестницам, он держит меня за локоть, чтобы не потерять в толпе, и спрашивает, на каком этаже остановиться. «А где тут продают рубашки?» — в свою очередь прикидываюсь я простачком. Отец усмехается. А мне вспоминаются строки Григоре Виеру о погибшем отце: «Старые рубашки, рубашки поновей, об отце негаснущая память...»)

По такому случаю я тряпочкой стер пыль с обуви, остановился перед зеркалом и убедился, что вроде все в порядке. Опрятен, причесан, прямо хоть демонстрируй такого на конкурсе мод.

Мама не находила места от любопытства.

— А кто же эта барышня, скажи на милость?

— Если бы я знал, честное слово, описал бы.

— Как же так, идешь на свидание с незнакомой девушкой?

— Что ж такого, — пытался я строить из себя Дон Жуана. — Не остается ничего другого, кроме как разглядеть ее сегодня же.

Разумеется, мама думала, что я темню и скрываю. Но все-таки приставать с расспросами не стала.

Дверь за собой я захлопнул задолго до половины восьмого.

Теплый ветер раскачивал ветки лип, и они сухо пощелкивали, будто зубы голодного волка. Обычно в марте весна уже вступает в свои права на молдавской земле, но сейчас она запаздывала, как девушка, которая не торопится на свидание с кавалером, не очень милым ее сердцу.

У входа в парк я встретил расфуфыренного Боба. Его не сразу можно было узнать. На свою черную шевелюру он водрузил шляпу с короткими загнутыми полями, в углу рта дымилась сигарета.

— Закуришь и ты? — с напускной небрежностью осведомился он.

— Пожалуй, нет.

— А я дымлю, как паровоз.

— Но заводские трубы на Рышкановке тебя перещеголяли.

— Опять один ноль в твою пользу, — отметил Боб между двумя затяжками.

— Нет, я был в офсайде. Гол не засчитывается.

Стоим у входа в парк. Боб прислонился плечом к бетонному столбу. Я торчу рядышком. Боб покуривает, я слегка завидую. Может и хотелось бы побаловаться душистым табачком, но не могу себе позволить такую роскошь. Едва вспомню о режиме, сразу пропадает охота. Мои физические данные должны быть на уровне, иначе Филипп Фатанович живо спровадит на скамейку запасных. А то и вовсе поставит на мне крест.

— Я взял билеты в кино. На 8.20. Успеем!

— Отдать тебе деньги?

— Ничего, купишь мороженое. Только не забудь, — наставлял меня Боб.

Он вынул из кармана зеркальце, напустил на себя важный вид и спросил:

— Не желаешь ли посмотреть на свою образину?

Видимо, Боб считает меня размазней. Это задевает мое самолюбие. Придется его проучить.

— Дай-ка эту штуковину.

Он протянул мне круглое зеркальце. Я мельком взглянул в него и забросил на пустырь. Боб с недоумением взглянул на меня

— Что на тебя напало, Вику?

— А то на меня напало, что мужчины не носят в карманах такие бабские принадлежности.

В первый момент Боб вроде призадумался, но потом снова начал пижонствовать. Нет, надо его приструнить, а то на голову залезет и усядется, как будто так и надо. Нет, не будь я Виктор, если не собью с него пижонскую спесь. Сам еще спасибо скажет. Такие соображения роились в моей голове, а Боб тем временем буравил сумерки своими блестящими пуговицами, смотрел во все стороны, высматривая наших девушек.

Вот показались две девчушки. Боб и ухом не повел. Значит, не они. А вот еще две прошли. Впрочем, нет. Это те же самые. Краем глаза поглядывают на нас. Неужто мы им приглянулись?.. Или просто посмеиваются над нами. Дескать, молодозелено.

Наконец, Боб дергает меня за рукав, хотя я смотрю туда же, куда уставился он.

— Они!

— Смотри не перепутай.

— Хватит подшучивать. Та, в розовом платочке, моя.

Значит на мою долю остается другая. Хочешь-не хочешь — ухаживай. Изволь заняться единственным вариантом.

Девушки подошли. На Боба любо-дорого смотреть. Лицо раскраснелось, глаза так сверкают, будто его подключили к электросети, и в нем вспыхнули фары. Я все еще свыкаюсь с мыслью, что Боб изрядный показушник, и надо преподать ему урок, который запомнится надолго.

Девочки поздоровались с нами почтительно, как с очень важными персонами. Мы ответили. Боб высокомерно, а я униженно, хотя выше его на полголовы. Получилось так, что как-то сразу я взял инициативу в свои руки и осадил Боба. Больше того, попытался увести у него из-под носа барышню. Та, которую он мне предназначил, выглядела совсем недурно: круглолицая, быстрые лукавые глаза, сочные губы, каштановые волосы. Девчонка что надо. А у другой, кроме всех обычных достоинств, было еще и какое-то необыкновенное очарование.

— Не пора ли нам положить конец анонимности? — сказал я девушкам, а в ответ у них только округлились глаза.

Боб оперативно перевел мое высказывание на нормальный человеческий язык и оно прозвучало так: «Давайте познакомимся!».

Я протянул руку девушке в розовом платке, и ее горячая ладонь доверчиво прижалась к моей.

— Таня, — проговорила она.

— Виктор, — с почтительным поклоном произнес я.

Другая ладошка оказалась прохладней, и я удержал ее, чтобы согреть. Хозяйка не торопилась высвободить ее из моей руки, и я сжимал ее бережно, как птенца.

— А я Маричика, — сказала она. И маленький бесенок запрыгал в ее глазах.

— А я Виктор, хотя и мог бы быть кем-то другим, — решил я сразу положить конец официальной части нашего знакомства.

— Интересно, кем же другим? — улыбнулась она.

— Об этом могу сказать только на ухо.

— Горю от нетерпения услышать.

Смотрю, спеси Боба будто поубавилось.

Совсем неплохо! Надо только не терять инициативу. Продолжать натиск. В конце концов я нападающий или собачий хвост? Атакующим хорошо чувствовать себя не только в футбольной команде, но и в обычной жизни. Голы забивает тот, кто рвется вперед, у линии обороны совсем другая участь. Как ни изобретательно играй в защите, это не то, что вести атаку.

— Выкроим время и для этого, — успокоил я Маричику. — А теперь Дан Георгиевич (так зовут Боба) предлагает пойти в кино. Как смотрит на это прекрасный пол?

— Ты разговариваешь так, будто только что выполз из словаря.

Боб хотел что-то изречь, но я не дал ему открыть рот:

— Как раз оттуда меня извлек Дан Георгиевич. Нынешней осенью он засушил в словаре кленовые листья, и меня заодно с ними. А сегодня спохватился и вытащил.

Девушки засмеялись. А я, ободренный их смехом, безоглядно ударился в треп. А милашки, известное дело, любят говорливых да находчивых. Шансы Боба сократились до минимума. Пусть скажет спасибо, если хоть Маричика ему достанется.

Мы направились в кино. Разумеется, я без дипломатических тонкостей разделил девушек и пошел между ними. Одна слева, другая справа от меня. Ближе к сердцу — Таня. Боб словно стал ниже ростом. Теперь он выглядит ниже меня на целую голову. Ничего другого ему не остается, как подкатиться к Маричике.

— Вот тебе боевое задание, Дан (язык у меня не поворачивается называть его по имени), надо угостить девочек, сбегай за мороженым, — протянул я ему рубль. Он посмотрел колюче, но, никуда не денешься, пошел.

— Возьми три порции Я — пас.

— Не любишь мороженое? — спросила Маричика.

— Обожаю, но приходится наступать на горло собственной песне.

До кинотеатра мы добрались минут за пять до начала сеанса. Достаточно времени, чтобы справиться с тремя эскимо. Я только глазами пожирал мороженое. Лишние калории, тяжкий груз. Неохота мне завтра утром бегать больше, чем обычно.

— Знаете, не было билетов в одном ряду и я взял два по два в разных местах, — сухо сообщил Боб. — Мы сядем вдвоем с Таней, а ты с Маричикой.

— Протестую. Так рассаживались до нашей эры по заранее приготовленному плану. Теперь разделение другое. Мы с Таней сядем в последнем ряду, а Дан и Маричика, где придется. Идет?

Если бы я ударил Боба колом по макушке, и то он бы так не ошалел. Славную шутку я с ним сыграл. Увел Таню из-под носа. Но матч еще не кончился. Окончательный счет не ясен. Преимущество в один гол легко свести на нет. Тогда у Боба ничья в кармане. А если ему посчастливится из неудобного положения врезать мяч в верхний угол ворот, тогда и вовсе победит... И все же пока веду я. Световое табло подмигивает мне.

Беру билеты в одну руку, другая остается свободной на всякий случай. Если ситуация потребует, можно взять Таню за локоть или за талию и повести дальше. Зря держу руку наготове. Девушка покладисто шагает рядом. Оба мы направляемся в последний ряд. Ушлый парень этот Боб. Два билета он взял в среднем ряду, два — в последнем.

Зал заполнен лишь наполовину. Так что у Боба был богатый выбор вариантов. Надо полагать, места в глубине зала предназначались для него и Тани. Но поскольку я увел девушку, он от досады уступил ее вместе с местами, оставшись в проигрыше по всем линиям.

Мы с Таней заняли свои места. Зрителей в зале, кажется, было немногим больше, чем веснушек на лице моей соседки... Нечаянное сравнение. Веснушки делают Таню еще привлекательнее, а зрители, островками разбросанные в зале, создают атмосферу обжитости.

Свет погас, и я сильнее почувствовал близость Тани. Оба мы не отрываем глаз от экрана, но я вижу кадры фильма будто сквозь туман.

— Ты играешь в футбол? — безо всякой связи спросила Таня.

— Нет, он играет мной, — шепнул я

— Ты всегда так разговариваешь?

— Как?

— Как-то с выкрутасами.

— Нет, только сегодня с утра до вечера.

— У тебя кто-то есть?

— Не понимаю, о ком речь? — притворился я совсем уж непонятливым.

— Ну кто-то, в кого ты веришь...

— О, да, разумеется, есть.

— Она красивая?

— Красивая?.. У него большая белая борода. Имя ему — бог...

Таня игриво ударила меня по плечу. Приятное касание. Согласен, чтобы всю жизнь меня так били. Правда, есть удары более коварные и жестокие. Да не о них теперь речь.

— Когда мы встретились, ты был смелей, — услышал я шепот.

Фильм остался, как говорится, по боку. У героев на экране своя беседа. У нас — своя. Хорошо, что темно и мы никому не мешаем.

— Смелость моя осталась на улице. Ей не досталось билета.

— Вот как, — вздохнула Таня. — Расскажи про себя.

— Не могу рассказывать. Я бы лучше послушал, что ты хочешь мне сказать.

— У меня — ничего интересного.

— У каждого человека есть что-то очень интересное.

— Откуда ты это взял?

— Из одной книги...

— Дан говорил, ты собираешься стать писателем.

— Откуда он знает?

— Наверное, ты сказал. Мне кажется, лучше быть писателем, чем футболистом.

— Лучше всего быть королем. Все тебя слушаются, поклоняются, угодничают.

— А где ты по нынешним временем разживешься королевством?

— Задача нелегкая, но если постараться, можно заиметь.

Таня умолкла на минутку. Молодая пара на экра-

не продолжила страстно целоваться. Хорошо быть артистом. Представляешь, десять поцелуев с Софи Лорен или Бриджит Бардо!

— О чем думаешь? — слегка толкнула меня Таня.

— О светлом будущем.

— Хочешь расскажу, как я приехала в Кишинев?

— Я этого жду с тех пор как начался фильм.

Никакой реакции, как и раньше. Начинаю волноваться: то ли я такой умник, что без особой подготовки меня не поймешь, то ли Таня туговато соображает. Стрелы моего юмора отлетают от нее, не оставляя даже крохотного следа.

— Еще в детстве я мечтала стать певицей. Целыми днями пела, оглашала песнями и дом, и двор, а когда ходила помогать маме собирать яблоки, то и сад наполняла песнями. Односельчанки наши говорили моей маме: «Отдайте, тетушка Анна, девчонку на радио, пусть ее все услышат. Дар божий нельзя запирать в четырех стенах, а то небеса накажут». А мама отвечала, что не навешивает никаких замков, никому не мешает слушать. После того как окончила нашу сельскую восьмилетку, не стала перебираться в соседнее село, чтобы пойти в девятый класс, а попросила у мамы денег и поехала в Кишинев. До этого я несколько раз писала в молодежную газету. Спрашивала, где можно выучиться на певицу, но ответа так и не получила. Одна-одинешенька приехала в город: летом мама никак не может отлучиться из бригады. А в городе стала действовать, как сосед посоветовал. Пошла на радио, там, мол, непременно должны знать, где обучаются певцы. Простояла у проходной битый час, дежурный милиционер не пропускал меня. Но я его все-таки разжалобила, и он стал спрашивать у проходящих сотрудников, кому направить девчонку, которая хочет стать певицей. В конце концов нашелся человек, согласившийся меня выслушать. Я спела ему несколько песен, и он сказал, что я должна выбросить дурь из головы. Таких голосов, как у меня — двенадцать на дюжину. Опечалилась я, пошла на автобусную станцию и такая тоска на меня напала, что принялась я рыдать — причитать. Тогда-то Маричика заметила меня, успокоила и посоветовала подать документы в училище. Теперь я там учусь на швею.

— Хорошая специальность, — одобрил я.

— А что, буду зарабатывать не хуже певицы. Зарплата солидная. А кто мне помешает и дома взять заказ. Как ты думаешь?

— Думаю, вполне можешь стать миллионершей.

— Пусть лопнут от зависти те, кто поет по радио...

Мы помолчали некоторое время. Я думал о том, как все-таки примитивен этот фильм. А Таня, должно быть, в грезах видела себя ужасно богатой.

— Ты будешь писать книги, а я сошью тебе столько костюмов, что каждый день будешь надевать другой.

Ага, вот мы уже побывали под венцом. Выбирай, почтенный Виктор, костюм на сегодня. День нынче жаркий, к твоим большим зеркальным очкам, пожалуй, подойдет светлый костюм в еле заметную полоску. Вот этот! Надень, не робей! Ты будешь самым неотразимым мужчиной во всем городе. Заметь и такую деталь. Костюм прекрасно сочетается с цветом папки, в которой лежит твоя рукопись, готовая к изданию.

— Слушай, а на что тебе сдался этот хоккей? — продолжала Таня щебетать на ухо.

— Ни на что не сдался. И вообще, я в футбол играю.

— Знаешь, для меня это одно и то же. Что зимний спорт, что летний спорт, я в них одинаково разбираюсь. И все же советовала бы тебе перейти на хоккей. Зимой наиграешься вволю, а летом — свободен. Можно отдохнуть на море, в горах. А футбол отнимает все лето.

— Завтра же начну ходить на хоккей, только надо одолжить у кого-нибудь клюшку

— Что одолжить?

— Клюшку... И обвязать ее тряпками.

— А какими тряпками?

— Разумеется, мягкими, чтобы не разбить стекло телевизора, когда буду наносить удар с внутренней стороны.

Опять никакой реакции. Это начинает меня раздражать. На экране какая-то суета. Бегают и орут какие-то подонки. Даже не знаю, что сказать Тане. А так как мы сидим в последнем ряду, мне пришло в голову не лишенное любопытства соображение. Таня тоже смотрит на экран, и ничего не смыслит, как и я. Плохие фильмы надо бы смотреть с первого ряда, чтобы пришлось вертеть головой во всю ширину экрана, — тогда по крайней мере укрепятся шейные мышцы.

Картина хоть и неважнецкая, но никто не уходит. Ждут какого-то чуда, как на футбольном матче, когда твоя команда проигрывает и ты надеешься, что внезапное пенальти или пушечный удар под перекладину поможет уйти от поражения. А может, этим ребятам, сидящим в зале, просто некуда податься, как и нам. Но чудеса случаются не каждый день.

— Чего замолчал? — спросила Таня.

— Что я могу еще сказать, — процитировал я.

— Другой на твоем месте оказался бы смелей.

В чем же проявилась бы его смелость?

— Ну, попробовал бы обнять, поцеловать...

— И много таких смельчаков ты уже встречала? — вырвалось у меня.

— Не очень, но все-таки.

У меня пропала охота досматривать фильм. Экран словно заволокло густым туманом. Я схватил Таню за руку и торопливо спросил:

— Может, уйдем?

— А Маричика? Надо их подождать

— Придут... Не маленькие.

Мы тихонько поднялись и наощупь вышли из зала. Тяжелая дверь захлопнулась за нами, заставив, наверное, вздрогнуть некоторых зрителей. Нас обдало вечерней прохладой. Я поднял воротник куртки, — не простудить бы горло. Я шел рядом с Таней и, как ни старался, не мог идти с ней в ногу. Она это заметила.

— Ты куда-нибудь спешишь?

— Мне некуда... — пожал я плечами.

— А я думала, что время твое вышло и тебе надо поспеть домой, чтобы дверь не захлопнули перед носом.

Кажется, впервые я не нашел что ответить на ироничное замечание девушки. Молча сглотнул комок, подступивший к горлу.

До самого общежития Тани мы не проронили ни слова. У входа она еще хотела постоять, перекинуться несколькими словами, но я несколько раз притопнул в знак того, что ноги озябли.

— Давай распрощаемся, а то вижу, ты замерз.

Я только этого и ждал. Протянул ей руку, пожал ее ладошку и торопливо бросил:

— До свидания, Таня!

— До свидания, Виктор. Когда у тебя выйдет книга, предупреди меня, я куплю. Хочу посмотреть, о чем ты пишешь.

— До тех пор... еще надо набраться терпения.

Я пошел домой не оглядываясь. Когда общежитие осталось далеко за спиной, я почему-то стал насвистывать такую грустную мелодию, какую наш город вряд ли когда-нибудь слышал и, наверное, больше никогда не услышит.

ВАЛЕРИЯ

Сегодня Виктор чуть не опоздал на первый урок. Но все-таки успел опередить учительницу химии, — в класс он вбежал, разумеется, после звонка. Вот и хорошо, что не опоздал, а то на следующей неделе у нас комсомольское собрание, я готовлю доклад о дисциплине в классе. Наш классный руководитель Штефан Штефанович четко и вразумительно наставлял меня, когда мы беседовали с глазу на глаз:

— Время, оставшееся до экзаменов, надо использовать лучшим образом. Оно может сыграть решающую роль в вашей судьбе. Вот почему я жду от вас разумной, сознательной дисциплины.

У нашего классного руководителя утомленный, даже измученный вид. Пожелтевшее лицо покрыто сетью морщин. В глазах — накопившаяся за долгие годы усталость, которую, кажется, никак не одолеть. Много поколений выпускников проводил в большую жизнь Штефан Штефанович. И если каждое оставляло хоть морщинку на его лице, то бороздок этих полным-полно.

Штефан Штефанович напоминает с гордостью, но и с грустью, что мы последний класс, который он выводит в люди. После нашего выпускного вечера Штефан Штефанович уходил на заслуженный отдых. Папа где-то прослышал, что наша директриса Кира Теодоровна настойчиво выпроваживает его на пенсию. Поговаривают, что какая-то родственница Киры Теодоровны заканчивает в этом году пединститут и получила направление в нашу школу. Чтобы высвободить ей место, Штефану Штефановичу указали на дверь.

Хорошо, что Виктор вовремя успел на урок. Не придется мне склонять его имя на собрании за нарушение дисциплины. Хотя, конечно, он не безгрешен. По математике едва тянет на троечку. Не представляю, какой из него может получиться интеллектуал при таких успехах в точных науках.

С Виктором что-то такое творится. Он явно не в себе. Подолгу молчит, впадает в глубокое раздумье. И выглядит измотанным. Может, из-за перегрузок на тренировках? Две тренировки в день — это не шутка. А кто его вынуждает? В конце концов, футбол — не школьный предмет, который входит в обязательную программу. Живут же люди и без этой блажи.

На третьем уроке я спросила Виктора:

— Что-то случилось? Чего ты такой хмурый?

— Да, — сказал он, — Когда я утром вышел из дому, с крыши сорвалась сосулька и угодила мне прямо в рот. Я ее проглотил. Она до сих пор не тает.

— Горячим чаем не пробовал запить? — в тон Виктору отозвалась я, но он почему-то обиделся.

— Комсорг не обязан заботиться о чае.

Если уж на то пошло, не стану напрашиваться на дружеский разговор.

На переменах Виктор то и дело шепчется с Бобом в укромных уголках. Наверное, у них свой секрет, который они оберегают. А мне и дела мало. У каждого свои проблемы. И нечего совать нос, как говорят молдаване, в чужую кастрюлю. Хотя, честно говоря, очень хотелось бы знать, о чем секретничают Боб и Вику.

На последнем уроке Вику получил записку от Боба. Меня одолевало такое любопытство, что заглянула краем глаза. Прочесть ее было нетрудно, ведь у Боба самый лучший почерк в нашем классе. Настоящий каллиграф, шрифтовик. Каждая буква, как отборное зерно. В записке загадочно говорилось: «Вику, что будем делать нечером? Не повторить ли нам вчерашнюю вылазку? Давай ровно в 8, в том же месте, Боб». Настоящая головоломка. Хоть лопни, не поймешь, о чем речь. Любопытство мое распалилось. Глаза разбегаются. Одним смотрю на учителя, слушаю его объяснение, другим норовлю не упустить Виктора. Он так сосредоточен, будто работает над шедевром. «Катись ты со своими красотками. Потеря времени и сплошное разочарование».

Вот, значит, у Боба и Вику какая тайна! Красотки! У меня в голове все смешалось, перестала понимать объяснение учителя и вообще все на свете. Я сидела на своем обычном месте за партой, но чувствовала себя так, будто сижу на веревке, натянутой между двумя стенами, и ветер раскачивает меня, а я с трудом выдерживаю равновесие. Должно быть, смятение было написано на моем лице, потому что учитель внезапно предложил.

— Карайон, повтори, что я только что сказал.

Я механически вскочила на ноги, не в силах повторить и двух слов.

— Не могу... — сказала я, и голос предательски задрожал. — Плохо чувствую себя

— Тогда выйди немного на свежий воздух.

Я так и сделала. Весенний воздух помог мне прийти в себя. На деревьях в школьном дворе галдели воробьи, прыгая с ветки на ветку, будто соревнуясь друг с другом. Такие они веселые, дружные. А мы, десятиклассники, завтра-послезавтра покинем родное гнездо. Каждый из нас сам по себе.

Чего, к примеру, я жду от школы? Естественно, медали! Чтобы потом сдать на отлично один предмет и стать студенткой. Вику, наверняка, пойдет в футболисты. Боб пристроится в мастерской, где рисуют транспаранты и надписи на траурных венках. Кока рвется на курсы крановщиков. Разбежимся мы во все стороны, как куропатки. Интересно, как мы будем выглядеть, когда встретимся через пять, десять лет?.. Совсем постареем...

После уроков я брела домой одна. Хотелось, чтобы кто-то из ребят меня догнал, поговорил или предложил что-нибудь. Но никто ко мне не тянется, и это наводит на грустные размышления. Неужели я не представляю в нашем классе интереса ни для мальчиков, ни для девочек?

Ускоряю шаг. Почти бегом обгоняю недоумевающих пешеходов, которые смотрят на меня, как на чокнутую. Наверное, я просто уродина. К тому же такая не по возрасту наивная, что другой такой на

свете не сыскать. Чего я после этого стою как комсорг, если никто со мной не считается, кроме как на собраниях. Хоть бы подошел кто-нибудь из одноклассников — посоветоваться, обсудить что-то.

Добравшись домой, швыряю дипломат с учебниками в прихожей и замираю перед зеркалом. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи, кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее. Молчит зеркало. Смотрит на меня моими голубыми глазами, а я чувствую, как лицо мое заливается краской.

Мама так и застала меня стоящей перед зеркалом с глазами полными слез.

— Что с тобой, Валерия?

Я не стала оборачиваться. Мамин взгляд и мой встретились в глубине зеркала, и в этот миг я расплакалась. Мама кинулась ко мне, словно я стояла на краю пропасти и меня нужно было удержать, спасти. Она обняла меня за плечи, и я прижалась к маминой груди. Слезы душили меня, и если бы я хотела что-то сказать, все равно не удалось бы. Поэтому говорила мама, поглаживая меня по голове.

— Успокойся, Валерия, успокойся! Слезами горю не поможешь. Рассказывай, что там у тебя, облегчи сердце.

— Ничего, — произнесла я первое и самое расхожее из многих слов, рвавшихся наружу.

— Ты же знаешь, Валерия, у нас в семье слезы не в цене. Успокойся.

Мамины слова заставили меня поднять голову. Я вытерла слезы и резко сказала:

— У нас многое не в цене.

— Я не поняла, что ты имеешь в виду?

— Много замечательных вещей остаются у нас по боку... Только независимость, одиночество на почетном месте. Лишь бы не нарушить покой друг друга. Этой добродетели вы воздвигли трон. А обо мне вы когда-нибудь подумали? Что я одинока, самолюбива, никто ко мне не тянется, никому я не нужна...

— Не говори так, Валерия! Грешно тебе...

— Когда я была маленькая, канючила без конца — хочу братика или сестричку, а вы меня убеждали, что если кто-то появится, надо будет делиться шоколадкой, нарядов на мою долю меньше достанется, игрушек тоже...

Мама снова подошла, ласково обняла меня, поцеловала в лоб.

— Не береди себе душу теперь, когда осталось всего несколько месяцев до окончания школы. Поступишь в институт, у тебя сложатся совсем другие отношения с коллегами. Ты пригласишь их домой, вы будете спорить, слушать музыку, развлекаться... Никто из нас перечить не станет. Мы будем приветливы с твоими друзьями. А их у тебя появится много-много.

Я подняла голову и заглянула в глубину маминых глаз, чтобы убедиться, действительно ли она верит в то, что только что сказала. Нет, она не верила. Мы обе знали что ее недавние слова не более, чем утопия. Не разрешат мои родители тащить в дом разношерстные компании или самой шляться по гостям.

Когда я училась в младших классах, меня то и дело приглашали на день рождения и каждый раз родители находили предлог — не пустить.

«Откуда ты знаешь, Валерочка, всерьез тебя пригласили или просто так сказали? Наверное у них много родственников или близких друзей, зачем еще ты будешь путаться под ногами. Лучше скажи, какое лакомство купить тебе, и мы тут же... делиться ни с кем не придется».

Я ей верила. Теперь я изрядно усомнилась во многом из того, что мне говорят родители. Безоглядная доверчивость мстит мне за это жестоким одиночеством?

— Успокойся! Что ты из этого делаешь трагедию?

— Как же не делать? И вообще, что я значу для класса, для учителей? Сущий ноль. Вечно вы меня от чего-то оберегаете. В каждом человеке вам мерещится зло и мрак. А сколько людей светлых, хороших! Кто я? Смотреть на себя не могу даже в зеркало. Тошно...

Мама взяла меня за талию, проводила в мою комнату, уложила на диван.

— Отдохни часок, потом тебе станет легче.

— А Лорике разрешишь прийти к нам?

— Конечно... если ты будешь умницей.

ВИКТОР

Пусть у меня уйма забот, скверное настроение, пусть болит голова или досаждают все мыслимые и немыслимые недуги, но когда приходит черед уроку молдавской литературы, все отлетает, становится незначительным. Знаю, на нем я услышу мудрое, остроумное слово, высказанное человеком, которого грех не послушать.

Редкого благородства и щедрой души человек наш учитель литературы и, к счастью, наш классный руководитель Штефан Штефанович.

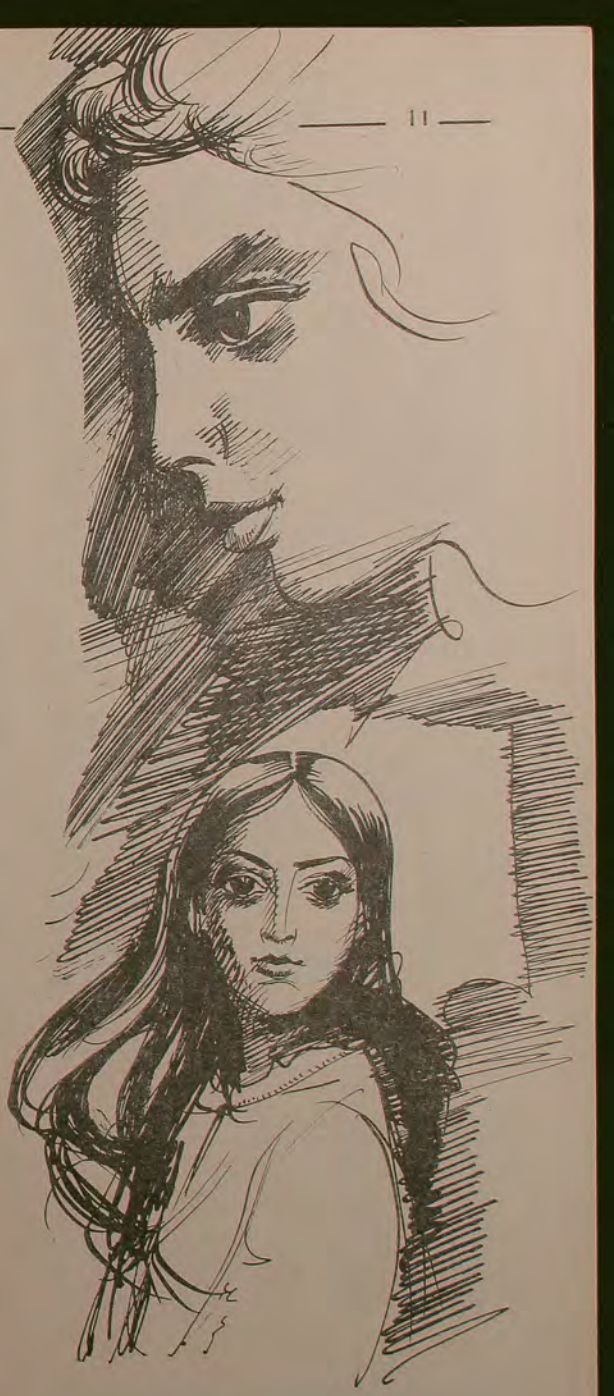
Как-то он нам рассказал, что по давней семейной традиции первенцам в их роду всегда дают имя Штефан. У нашего учителя тоже есть сын Штефан, геолог, который вечно ездит в экспедиции то в Заполярье, то на Камчатку. Почему-то Штефан Штефанович не любит распространяться о нем. Наверно, не без причины. Потому что наш учитель по пустякам не сердится.

Он один у нас остался без прозвища. Типун тому на язык, кто рискнул бы обидеть его недобрым словом.

Каждый урок Штефана Штефановича, я бы сказал, праздник души, именины сердца. И каждый начинается стихотворением Эминеску, прочитанным вслух. Учитель нам как-то признался, — не было для него горше муки, чем в ту пору, когда Эминеску не входил в школьные программы, и он был вынужден преподавать молдавскую литературу без нашего великого классика. Может, скажи кто-нибудь другой об этом, я бы и усомнился. Но Штефану Штефановичу верю.

Я рад, что скоро окончу школу. Но больше всего мне будет не хватать уроков Штефана Штефановича. Уверен, и много лет спустя буду скучать по любимому учителю.

А когда закончу свою первую книгу, сделаю на ней посвящение Штефану Штефановичу. Разумеется, заранее не ставлю его в известность. Сам узнает в свое время. Возможно, и вторую книгу посвящу ему. Кому какое дело до этого? Все мои книги посвящу ему.



Тогда Штефан Штефанович уже будет на пенсии. Жаль, что подрастающие школьники его не услышат.

Однажды учитель пристально взглянул на меня и спросил:

— Мугур, почему бы тебе не попробовать написать что-нибудь, кроме школьных сочинений?

— Вы имеете в виду книгу?

— А почему бы нет? У тебя хорошее перо.

— Видите ли, — отозвался я, — жизненного опыта маловато в 17 лет. А какая без него может быть книга? Высасывать из пальца? Брать с потолка?

— Ты прав, Мугур, писать надо только о том, что сам пережил. Искренность нужна, правдивость.

— Согласен, согласен с Вами.

— Да, милый Виктор, книгу сначала надо выстрадать, пережить, а потом написать...

Теперь я с особым нетерпением жду урока литературы. В прошлый раз мы писали сочинение. Оно мне, кажется, удалось. Хотелось бы скорей узнать мнение Штефана Штефановича.

Оглушительно прозвенел звонок, и мы сели за парты. По-молодому стремительно вошел Штефан Штефанович с классным журналом и стопкой тетрадей под мышкой. Ничего не сказал, лишь приветствовал нас кивком и окинул близоруким взглядом. Без очков он читать не мог, но он их надевал, как правило, лишь тогда, когда должен был сделать какую-то запись или пометку в журнале. Обычно же они покоились в нагрудном кармане. Вместо приветствия Штефан Штефанович с ходу начал с присущей ему выразительностью:

Жила в былые времена
Как сказ гласит правдиво,
И благородна, и знатна,
Красавица на диво.

Учитель опустил на стол стопку тетрадей, оседлал переносицу очками и начал:

— Гениальность поэта чувствуется в каждой строке... Каждое слово будто вырвалось из души любого из нас... Но вернемся к нашей работе. Здесь в некотором смысле итог того, что вы изучали десять лет, — Штефан Штефанович приподнял стопку тетрадей.

— Разные мысли рассыпаны в этих тридцати тетрадях. С этими раздумьями вы выходите в жизнь. И от единства слова и дела во многом зависит, кем вы станете. Всегда будьте искренними. Не ждите поблажек на каждом шагу. Не каждое доброе дело вознаграждается, как не всякая пакость наказывается. Пусть основным барометром будет ваша совесть. Пусть прежде всего вам самим нравится то, что вы делаете...

Лучшим сочинением, по отзыву Штефана Штефановича, было мое. Но получил я за него четверку. Выше четверки никогда не удавалось подняться. Штефан Штефанович однажды сказал мне:

— Твои сочинения — особое дело... А кому много дано, с того много и спросится. Вдвойне! Втройне...

Однако сам я тоже не в восторге от себя. Пятерка по литературе мало улучшила бы общую картину в моем аттестате.

Поглядываю на Валерию краем глаза. Несомненно, у нее пятерка. Как же может быть иначе? Ведь ей светит золото. Спит и видит во сне медаль. Что-то не очень симпатична мне Валерия. Порою попросту кажется: она не внушает доверия. Я заметил, что и Штефан Штефанович, хотя и ставит ей

пятерки, держит ее на расстоянии.

Вспоминаю то комсомольское собрание в начале года, когда я малость напроказил, за что Валерия не давала мне спуску несколько месяцев.

Накануне она мне сказала, что со мной хочет встретиться ее отец. Я так и замер в немой сцене: никогда не лез в душу Валерии, держался добропорядочно, не мешал ей хватать пятерки, не конкурирую с ней в битве за медаль, даже не списываю у нее контрольные по математике, что нередко приносит мне дополнительные неприятности. И вдруг ни с того, ни с сего ее папаша хочет побеседовать со мной за стаканом чая. По какому случаю? И нужно ли мне как-то подготовиться к этой встрече? Валерия простодушно созналась, что понятия не имеет, о чем предок намерен толковать.

Ну, да ладно, я не из тех, у кого ноги становятся ватными при каждом непонятном шорохе. После уроков отец Валерии ждал нас возле школы в своей машине. Я поздоровался. Валерия представила меня, и он, мужик скорее молодой, чем в летах, пожал мне руку и с улыбкой попросил дочь оставить нас наедине.

Жестом руки он пригласил меня в машину, дескать, посидим рядком, поговорим ладком. Я с извинением отказался, сославшись на тренировку.

— Вы играете в команде «Нистру»? — спросил он.

— Пока я в подготовительной группе.

— Уверен, что попадете в основной состав, и я обязательно приду на матч, посмотрю на вас.

Старо, как мир: мягко стелет в начале разговора, чтобы выпытать что-то или добиться своего. Я ждал следующего хода, как шахматный гроссмейстер в партии с самоуверенным любителем. Иногда мы представляемся взрослым какими-то недоумками, ни шиша не смыслящими в человеческих отношениях. Забывают, что мы «аксели» (т. е. акселераты).

— Знаю, Виктор, вы пользуетесь авторитетом в классе, поэтому хочу попросить об одной услуге...

Еще один лишний ход. Длинная получается дорога в Кишинев, если ехать через Владивосток. А я спешу на тренировку, и нет никакой охоты тратить время на церемонии. Я перебил его и сказал:

— Готов выполнить любую просьбу, разумеется, в пределах моих возможностей.

— Конечно... понимаете, это последний учебный год, и каждому из вас нужна будет...

— Положительная характеристика, — продолжил я его медленную речь.

— Совершенно верно... Дело не только в этом. Валерия как-то очень одинока... Хотелось бы, чтобы она сильнее вросла в коллектив... Завтра у вас комсомольское собрание... Не могли бы вы ее выдвинуть в комсорги. Вам, как говорится, ничего не стоит, а ей помогло бы избавиться от комплекса неполноценности.

— Почему бы нет, запросто предложу, заодно избавлюсь от возможной опасности: ведь и меня нечаянно могут предложить.

Отец Валерии дружелюбно похлопал меня по плечу.

— Вот видите, двойная выгода...

— Двойная, как же, — отозвался я, после чего мы расстались.

Нет, это пожелание не воодушевляло меня. Обычно я против всяких компромиссов, а тут надо словчить.

На следующее утро Валерия кинулась мне навстречу.

— О чем с тобой вчера папа говорил?

— Советовал лучше готовить уроки, чтобы у дочки сосед по парте не был лоботрясом.

Валерия сразу поняла, что я дурака валяю.

— Что же ты ему ответил?

— Обещал стать пай-мальчиком. И вундеркиндом в науках.

— Только и всего?

— Да нет, еще пообещал отказаться от медали в твою пользу.

— Злой ты все-таки, — кольнула меня Валерия взглядом.

— Уж какой есть...

Во время собрания я сидел, как на иголках. Согласитесь, положение неважнецкое. Надо встать первым, чтобы никто меня не опередил. Я ведь обещал. И слово надо сдержать.

Вел собрание Цугуй. Когда он серьезным тоном спросил, какие будут кандидатуры, я так и подскочил.

— Предлагаю в комсорги Валерию Карайон. Она хорошо учится, пользуется авторитетом в классе и, не сомневаюсь, справится с порученной работой.

Глаза одноклассников пытливо уставились на меня. Наверно, я должен был еще что-то добавить, потому что моя характеристика страдала неполнотой. Все знали Валерию как достойную, прилежную ученицу. Но слова о том, что она пользуется авторитетом в классе, попахивали демагогией.

— Да, я твердо верю, что Валерия нас не подведет.

Следом за мной еще несколько ребят поддержали это предложение. А вот когда дело дошло до голосования и Цугуй спросил, кто против, моя рука была единственной, поднявшейся вверх. Таким образом, Валерия прошла при одном голосе против.

— Несерьезный жест, Мугур, — сказал мне после собрания Штефан Штефанович.

И мне ничего не оставалось, как согласиться:

— Да... я не согласен с собственным мнением... Передумал.. Поверьте, у меня есть причина...

Несколько месяцев после этого Валерия почти не разговаривала со мной.

ВАЛЕРИЯ

Кот, конечно, кот пушистый, но не может же он мне заменить общение с людьми. Закончив уроки, я обнаружила, что сама торчу в квартире, только Муцунаки устроился у меня на руках. Я терпеливо объяснила ему новый материал по химии, а когда стала излагать теорему по тригонометрии, он раза два зевнул, спрыгнул с моих колен, улегся на ковре, положив голову на передние лапы, прикрыл глаза и уснул сладким сном.

На город опускаются сумерки, и снова я одна-одинешенька.

Отец уехал в командировку по районам — весной он вечно мотается в поездах. Проверяет, как провели снегозадержание, как прошел сев и каков уход за посевами, как вносят гербициды, ремонтируют технику... По возвращении он рассказывает, какие обнаружил недостатки. Однажды я не выдержала и спросила:

— Интересно, как крестьяне умудрялись выращивать хлеб, когда еще не было министерства сельского хозяйства?

— Убогие были урожаи...

— А теперь, кажется, сельский мужик пальцем не шевельнет без указания министерства...

— Знаешь, если бы не мы, все пошло бы прахом...

Вчера он снова укатил в командировку. Мама ночью дежурила в больнице. И осталась я вдвоем с Муцунаки, который тоже улизнул — у него свои весенние заботы.

И некому доказывать теорему. Осталась я лицом к лицу с одиночеством, но оно меня не хочет слушать.

Может, позвонить кому-нибудь? А кому? Набрать случайный номер телефона и завести разговор с незнакомым собеседником? Вздор. Неизвестно на кого попадешь, еще обругают и пошлют куда-нибудь подальше. Настроение еще больше испортится.

Мои мысли делают странный акробатический трюк и неожиданно для меня самой устремляются к Виктору. Почему именно к нему? Он такой сильный, спокойный, уверенный в себе, вышагивает по классу, как некий Ален Делон. Пожалуй, он мог бы учиться превосходно, но привык заниматься лишь тем, что ему нравится. До всего остального ему и дела нет. Читать его сочинения — настоящее удовольствие. И хотя он у нас самый способный по литературе, Штефан Штефанович никогда не удостаивает его пятерки. Выше четверки Вику не подымается.

Наверно, будь я на его месте, пожаловалась бы директору или даже в министерство. Все-таки это несправедливо — писать лучшие сочинения в классе и никак не добиться отличной оценки. Спору нет, у нашего классного много достоинств, но эта взыскательность — сверх меры. Вику молчит и внимания не обращает, довольствуется тем, что бог послал. А по математике и вовсе еле тянет на троечку.

Может, стоило бы и поговорить со Штефаном Штефановичем, но мне не хватает смелости. К тому же есть опасение, что разговор этот мог бы повлиять на мои отметки. Ведь Штефан Штефанович вполне мог сказать: ага, у вас претензии к оценкам Мугура. Что ж, давайте впредь оценивать ваши работы в сравнении с его сочинениями. Возьмем за образец работу Мугура и сравним с нею ваши. Нет, я пожалуй, не стану выступать в защиту Вику. Это мог бы взять на себя Боб, Кока или еще кто-то из его закадычных дружков.

Может, позвонить ему. Узнать, какие у кого оценки по сочинениям... Здесь я, наверно, не рискую нарваться на грубость. Ведь комсорг вполне мог проявить интерес к успеваемости одноклассников. Идея выглядит вполне приемлемо. Остается разыскать номер его телефона.

Листаю книгу, нахожу. Удобно усаживаюсь у аппарата, старательно набираю цифру за цифрой.

— Добрый вечер. Говорит Валерия. Если можно, позовите Виктора.

— Минуточку, сейчас. Но я хотела бы узнать, как он там.... не пропускает уроки? А то его голова, кажется, превращается в футбольный мяч.

— Аккуратно посещает... И учится на зависть.

— Боюсь, что этот футбол из него все соки выпьет...

— Наоборот, — возразила я, и почувствовала в трубке другое дыхание. Вероятно, Виктор поспешил вырвать трубку у мамы, чтобы я не успела сболтнуть что-то лишнее. Зря он опасается: не такая я дура, выносить сор из класса. Виктора я приветствовала не без иронии:

— Добрый вечер, товарищ писатель. Вас беспокоит читательница.

— Приятно, что звонишь автору ненаписанных книг.

— А что мешает им стать написанными? Может, помочь?

— Всему свой черед. Обычно я сам, без посторонней помощи справляюсь со своими делами.

Слова Виктора задели меня, и я как-то растерялась — стоит ли начинать разговор об оценках по сочинениям. Вику может истолковать его как-то не так... Но и молчать в трубку тоже глупо. Зачем-то же я позвонила... Чего доброго, ему еще покажется... Да, надо сказать о сочинениях.

— Знаешь, по какому я поводу? Ни за что не угадаешь.

— И не собираюсь угадывать, — отрезал Вику, готовый, кажется, вот-вот вспылить.

— Никак не могу взять в толк... Ответь на один вопрос, почему ты не возмущаешься, когда Штефан Штефанович объявляет классу, что у тебя лучшее сочинение, а ставит всего-навсего четверку? Разве это справедливо?

Я слышала дыхание Вику в трубке. Он молчал, то ли собираясь с мыслями, то ли укрощая гнев. Я с нетерпением ждала, что он скажет.

— Послушай, Валерия, и запомни навсегда. Отметки меня не интересуют. Они для меня ничего не значат. Понимаешь, я считаю, что сочинение не может иметь ничего общего с цифрой, которую ему выставляют. Представляешь, поэт написал:

И если тополь по окну
Стучит ветвями в полночь,
То это, может быть к тому
Чтоб о тебе напомнить...

И если туч плывет гряда
И всходит месяц ясный,
То это, чтобы никогда
Мысль о тебе не гасла.

Эти строки проникают в душу. А после этого ты вдруг начнешь мудрить с какой-то цифирью. Разве это не чушь? Писание важно для меня само по себе, когда я мучаюсь, ищу подходящее слово, перебираю в уме уйму вариантов и нахожу самое подходящее. Все остальное — мелочи жизни.

— Но ты же лучше всех пишешь сочинения — поэтому заслуживаешь лучшей оценки..

— Чтобы я обиделся на Штефана Штефановича...? Разве что, если бы он вообще запретил писать... Тогда бы, наверное, я обиделся. И, может быть, пожаловался кому-то.

— Видишь ли, пока что при приеме в институт

судят по оценкам в аттестате. Так что не такие уж бессмысленные цифры.

— Наверно, ты права, но все-таки я не люблю сухие цифры. И в футбол играю тоже не ради цифр на световом табло, а ради красоты комбинаций, завершающихся взятием ворот.

— Дело твое, Вику, — сказала я, — тебе расхлебывать твое варево.

— Пожалуй... Во всяком случае, спасибо за заботу.

Судя по голосу, он произнес это вполне искренне.

— У меня к тебе просьба. Пожалуйста, не отказывай. Дай прочесть «Сто лет одиночества» Маркеса.

Молчание на том конце провода. Видимо, я его сегодня удивляю на каждом шагу.

— Зачем тебе этот роман, особенно теперь, перед экзаменами?

— Хочу.

— Он же не входит в программу. Да и читается нелегко. Стиль сложноватый.

— Ну и что?.. Думаешь, не по зубам мне. Не жадничай. А то еще и обидишь... Обещаю вернуть книгу в срок.

— Ладно, завтра принесу в школу.

Я положила трубку. И в задумчивости осталась у телефона, будто ждала, что еще кто-то позвонит. Не хотелось двигаться. Не хотелось ни читать, ни есть, ни спать. Наверно, хотелось быть не этой девчонкой у телефона, а совсем-совсем другой... В другом доме, с другим именем, с другими стремлениями... Я даже не слышала, как стукнула дверь, не слышала шагов в коридоре и вздрогнула от страха, когда возле меня оказался отец.

— Испугалась? — спросил он, увидев, как я побледнела.

— Сердце в пятки ушло.

— Я дважды звонил с интервалом в десять минут, когда машина довезла меня до городской окраины, но телефон был занят. Наверно, я ошибся номером. С нашим аппаратом такого не случается.

— Нет, ты правильно набрал номер, но у меня была долгая дискуссия.

— С кем? — полюбопытствовал папа.

— С Виктором Мугуром.

— Что тебе обсуждать с этим балбесом? У него в голове только футбол и самомнение...

— Чего это ты злословишь?

— Да он же пустышка. За версту видно. Вероятно, похож на своего папашу. Тот тоже вечно суется в какие-то истории.

— Папа, опять у тебя все плохие? Если будешь продолжать в том же духе, целый месяц не буду с тобой разговаривать.

— Ладно, побереги нервы.

Отец начал раздеваться на ходу. Снял пиджак, галстук прошел в ванную. Вскоре вернулся в одной майке. Табачищем от него разило, как от пепельницы с окурками, которую забыли высыпать в мусор. А еще уверяет маму, что не курит. Когда она его начинает пилить, он невинно объясняет: «Знаешь, я целый день провел среди курильщиков, вся одежда пропиталась дымом».

И я, и мама догадываемся, что папа курит тайком. Будто не себя травит, а кого-то... Вообще-то он бросил курить года три назад, с тех пор он при нас не дымит. А на стороне ведет себя, как бог на душу положит. Зачем весь этот обман, если с его приходом запах табачного дыма в квартире?

— Мама сегодня в ночную смену? — спросил он мимоходом.

— Да, — односложно отозвалась я. — А ты вроде был в командировке?

— А я и есть в командировке.

— Не понимаю...

— Что тут непонятного? Заехал домой переночевать, а утром снова уеду. Если кто-то будет разыскивать меня по телефону, скажи, что меня нет дома, только маме можешь сказать правду.

— Выходит, ты учишь меня лгать, папочка?..

— Знаешь, в том райцентре такая гостиница, что врагу не пожелаю в ней ночевать.

Отец родился и вырос в селе, в крестьянской семье, которая с весны до осени обрабатывала землю. Он рассказывал, что сызмальства за ним числились своя мотыга, вилы, лопата. Бок о бок со взрослыми он сеял, полол, косил. Отец вспоминает детство с особой теплотой. По глазам его видно, как дороги ему эти воспоминания. В минуты хорошего настроения он делится ими, будто сказку сказывает.

Из села он уехал с мыслью вернуться в отчий дом агрономом. Довольно хорошо учился в институте и, наверно, приехал бы в родное село с дипломом агронома, если бы не повстречал маму, дочь доцента того института, где учился отец. Мама тогда училась в медицинском. Встретились они на танцах — коренной сельский житель и утонченная горожаночка, дочь ученого.

Папе она приглянулась, он влюбился. Незадолго до окончания института они поженились. Мой городской дедушка одобрил планы молодых, он ничего не имел против папы, простодушного сельского парня, который хорошо учился. А что могли иметь против мои сельские дедушка и бабушка, когда сын привез им белокурую красивенькую невестку, дочь видного человека, как они говорили.

Женитьба, понятное дело, повлияла на распределение. Старательного студента, зятя доцента, оставили в аспирантуре. Со временем он подготовил диссертацию и вот-вот должен был ее защитить, когда один из противников дедушки вспомнил, что тот получил ученое звание на основе устаревших и подвергнутых осуждению работ.

Дедушку обсудили на многих ученых советах, лишили званий и должностей и отправили на пенсию. В пылу разоблачений спохватились, что папа — его зять. Тут же порешили без права на обжалование, что тема его диссертации не представляет научного интереса. Вот так он после трех лет аспирантуры остался у разбитого корыта и устроился чиновником в министерство. Но и там ему не очень везло: не было у него опыта работы на селе (давняя прополка, пахота, косьба — не в счет), ученого звания тоже не было. Шли годы, в руководящем кресле сменилось четыре министра, а он протирал брюки на том же стуле. Командировки, проверки, отчеты — вот и вся работа.

И хотя папа уроженец села, маме удалось, как он выражался, прибрать его к рукам, укротить, приучить к городскому комфорту. Вот и на этот раз он тайком завернул домой — принять горячий душ, переночевать на белоснежной простыне, насладиться чашечкой черного кофе.

Через полчасика, румяный и помолодевший, он вышел из ванны, оживленно спросил:

— Поедим чего-нибудь?

— Я не голодная, — соврала я, хотя хотелось есть. Но время было позднее.

ВИКТОР

Приближаются отборочные соревнования в молодежной группе «Надежда». Мы попали в относительно легкую подгруппу вместе с командами Киргизии, Эстонии и Ленинграда. Филипп Фатанович так и сказал, когда объявил нам состав подгруппы: достаточно нам выиграть у ленинградцев, и мы выходим в четвертьфинала.

Надо серьезно подготовиться, чтобы в первых турах не отсеяться. Погода нам благоприятствует. Мы уже почти месяц тренируемся на свежем воздухе, на зеленом поле. Я продолжаю по утрам свои забеги на десять километров и, хотя одолеваю их играючи, по утрам все трудней просыпаюсь. Перестал надеяться на свой навык и попросил маму будить меня.

Едва скрипнет приоткрытая дверь, спрыгиваю с постели... Если задержишься хоть на минуту под одеялом, запросто снова уснешь.

Сегодня после тренировки я столкнулся у ворот стадиона с отцом. Встреча получилась неожиданная, я был обрадован и смущен. У папы усталый вид, синие круги под глазами, явная печаль. Похоже, он переживает трудное время. Наверное, неприятности на работе... Или в семейной жизни не все идет так, как ему хотелось бы. Во всем его облике ощущаются смятение и подавленность.

Естественно, я не спрашиваю, что с ним творится. Взрослые обычно не спешат распахнуть душу. А если делают это, то скорее перед чужими людьми, чем перед родственниками. Отец — не исключение. Себе он, наверно, говорит, что надо меня щадить, потому что если не он оградит от печали свое дитя, то кто же? Ну и так далее.

Он попробовал улыбнуться, увидев меня у ворот стадиона, но улыбка с трудом пробилась сквозь пласты усталости и грусти. Я не стал вникать в его дела, но решил, что мой долг подбодрить его, хотя он и так довольно бодрый мужчина. А я тоже мужчина.

Семнадцатилетний юниор, как нас называют в футболе. Чтобы вырвать его из трясины мрака, информирую его о своих делах.

— Считай, что мы уже прорвались в четверть финала «Надежды».

— А с кем вы в подгруппе?

По пальцам перечисляю ему три другие команды, характеризую их возможности и о предстоящих матчах толкую лихо, будто мы их уже выиграли и осталась лишь последняя формальность. Игра за второе и третье места, которая нас не касается. Мы ведь ждем, когда нас официально увенчают лавровыми венками.

Мой отец — страстный футбольный болельщик, хорошо разбирается в игре и хочет знать результаты всех матчей, которые мы играем. Больше того, после любой встречи он анализирует мои действия на поле иногда, боюсь сказать, более квалифицированно, чем Филипп Фатанович.

Сегодня я играл не более получаса. И не заметил отца на пустых трибунах. Тем не менее он подметил:

— Сегодня ты несколько раз передержал мяч, будь внимательнее. Ты мог передать его на свободный край.

— Пардон! Учту.

— А что у тебя нового с тех пор, как мы не виделись?

— Все в порядке.

— Почему не звонишь? Хотя бы из чувства долга.

Слова отца задели меня.

— При чем тут долг? Разве между любящими людьми уместно говорить о долге? Что касается меня, то я просто был занят.

— Вот как... Впрочем, Виктор, ты, наверное, прав... Какие у нас еще долги друг перед другом...

Потом он поинтересовался, как поживает мама, они давно не виделись.. И я сказал, что хорошо, но видимся довольно редко, хотя живем под одной крышей. Она на работе, я — в школе и на тренировках. Встречаемся на бегу, едва успеваем перекинуться несколькими словами, для долгих разговоров времени не хватает.

Я рассказал ему, что на городском совещании передовиков недавно одобрили ее рабочий почин. Решили поместить ее на городскую доску почета. Так что у мамы дела в порядке. Отец посветлел лицом. Мне показалось, он хочет спросить еще о чем-то, но не посмел, и я тоже не решился встревать с расспросами.

И все же мне хотелось узнать, что нового у него. Но если мне удалось на некоторое время вырвать его из мрака, то при моем вопросе тень снова омрачила его. Я понял — неохота ему распространяться о своих неладах и огорчениях. И на этот раз я не стал настаивать на четких формулировках, когда отец пробормотал:

— Есть у меня кое-какие проблемы... Посмотрим, чем кончится эта катавасия.

Не стал я теребить отца. Он у меня работает прорабом в строительном управлении. Возводит жилые дома. И неразберихи хватает: то нет того, то — другого, то снимают с площадки несколько бригад для более срочных объектов, а план остается прежним. Хлопот хватает, но не вижу, чем я могу помочь.

Слово за слово, незаметно дошли мы до нашего дома. Я остановился, зная, что отец не войдет. Не то что он боялся мамы, нет, просто он считал этот дом чужим для себя. Отец взял меня за руку. Обычно мы избегали нежностей. И если он коснулся моей руки, значит хотел сказать что-то важное, существенное.

— Организуй свои дела так, чтобы в воскресенье заглянуть к нам.

— Может, встретимся в городе, — пускаюсь я на обходной маневр. Честно говоря, я не очень жалую его жену, занявшую мамино место. Нет, она не уродливая, не злая, со мной ведет себя тактично, иногда норовит пообщаться. И все же я ее не переношу. Думаю, чем реже мы видимся, тем лучше для нас обоих. Поэтому избегаю наносить отцу домашние визиты. Предпочитаю встречаться с ним в городе.

— Приходи. Сейчас тебе объясню, и ты уви-

дишь, что надо прийти. В воскресенье — день рождения Лорики. Дать тебе денег на подарок?

— Нет, нет, — горячо протестую я, хватаю его за руку, чтобы он не сунул ее в карман. — Денег у нас хватает. Мама получила зарплату и премию, так что с ресурсами у нас порядок.

— Не нужен ли тебе легкий костюм для весны?

— Ты же знаешь, у меня эти джинсы и еще одна пара. Двух пар вполне хватает на три года. Не беспокойся, когда попаду в финансовый кризис, первое, что сделаю, приду к тебе и начну выкачивать... Так что копи.

— Знаешь, Виктор, у меня для тебя сюрприз. В бутылку из-под шампанского собираю гривенники. Это будут твои деньги. Когда окончишь школу, мы опустошим бутылку. Говорят, полная бутылка содержит двести рублей.

— Ого! На что мне такая сумма?

— Купишь магнитофон.

— Да, хорошая идея. Так и запишем, чтобы не забыть.

— Я встретился со Штефаном Штефановичем и говорил о тебе...

Встретился... Знаю я, как это произошло. Отец специально пришел в школу, побеседовал. Пока он жил с нами, только мама ходила на все родительские собрания, он был вечно занят. Ему было не до моих школьных дел. Но после того, как он ушел от нас, опасаясь, видимо, обвинений в равнодушии и безразличии к своему чаду, стал регулярно наведываться в школу, разговаривать с классным руководителем, учителями, а после этого устраивать мне выволочку. Больше того, он регулярно посещает и Филиппа Фатановича, советуется с ним, рассуждает о моем футбольном будущем. Я знаю про все это. Но его забота не раздражает меня, — наоборот, согревает душу.

— Он говорит, что все у тебя идет неплохо, но по математике надо бы подтянуться. Попробуй, а?

— Выше тройки мне не подняться. Надоела мне математика. Претендовать на четверку с моими знаниями... Нелепо.

— Смотри сам, тебе виднее. Ты еще не передумал — будешь подавать документы на факультет физвоспитания?

— Передумать? Об этом не может быть и речи. Если хочу серьезно заниматься футболом, только туда мне дорога.

— А литература?..

— Для писания достаточно двух вещей: надо иметь авторучку и знать, что писать. Ни в каком институте не выучишься на писателя.

Мы распрощались, условившись, что в воскресенье к обеду я приду. Естественно, особой охоты увидеть Санду (так звали его жену, Лорикину маму) у меня не было. Но я принял приглашение, тем более, что тоже чувствовал потребность в перемене декорации. Надоела беготня с мячом и без. И торчать на уроках надоело. Сами знаете, как приятно весной отсиживать по шесть часов в школе. Солнце пригревает с одной стороны, а с другой — сидит Валерия и на плечах рассыпаны волосы цвета спелой ржи.

Поднимаюсь по лестнице и хлопаю себя по лбу: чего это вдруг я про Валерию? Интересно, кто в нее влюбится, кто войдет в ее жизнь, откроет ее, как неведомый остров? Существует ли на свете такой человек? После некоторых колебаний допускаю, что да. Какой-нибудь зубрила вроде нее. Вспоминается вчерашний телефонный разговор. Да, я все-таки дал ей «Сто лет одиночества». На что ей эта книга? Она же не входит в программу.

Дома меня ждал Боб. Коротал время в беседе с моей мамой, развлекал ее. Я приветствовал Боба, будто мы не виделись сто лет и сто зим.

— Как успехи на тренировке? — торопливо выпалил он.

— Сколько я ни учу тебя, Боб, что тренировка — это подготовка к матчу, до тебя это никак не доходит. Только после матча видно будет, был какой-то смысл в этой суете или нет. Тренировка важна не сама по себе. Она красна итогом.

Мы прошли в мою комнату, и я поставил на проигрыватель диск с Софией Ротару. Комната наполнилась неизъяснимой грустью, излучаемой голосом певицы.

— Знаешь, Боб, я слушаю Софийку, не могу наслушаться. Что бы это могло значить?

— Значит, певица — высший класс!

— Браво, братец! Ты ответил, как мудрец, каковым являешься не на каждом отрезке времени, — сказал я и лишь тогда заметил папку у Боба под мышкой. — Что у тебя там?

— Новость.

— Выкладывай скорей... Не корчи из себя умника, а то я и впрямь поверю...

— Я тут написал несколько этюдов с натуры. Надоели лозунги и стенды.

Приятель мой, как я уже говорил, к работе не очень тянется. И все же, худо-бедно — зарабатывает для семьи кусок хлеба. Отец у него больной человек, устроился сторожем на стройке, а мать хоть и служит уборщицей в двух местах, — по утрам убирает в одном учреждении, по вечерам — в другом, — зарабатывает не бог весть как много, а ведь в семействе, кроме Боба, еще трое маленьких детей.

По совету учителя рисования Боб некоторое время посещал изостудию во Дворце пионеров. Коечему научившись, стал помогать родителям. Его взяли на полставки в мастерскую, расположенную в полуподвале напротив их дома. И Боб писал лозунги белой краской на алом полотне, выводил золотом надписи на черных лентах: «Дорогому и незабвенному... от коллектива».

Однажды я зашел к нему на работу. Меня охватил ужас, когда я увидел кучу исписанных черных лент. Мы резвимся, играем в футбол, забываем выучить уроки, а кто-то в это время складывает руки на груди и закрывает глаза на веки вечные.

Голос Софии Ротару будоражит душу. Несмотря на все мои старания выясняется, что не могу сдержать слез. Боб замечает мои слезы и удивленно посвистывает:

— Что с тобой, Бику? Я считал тебя серьезным мужчиной, а ты сырость разводишь.

— По-твоему, серьезные люди только смеются днем и ночью? Послушай, какая песня, какой голос! Даже если в тебе ничего нет, все равно возьмет за душу.

Ничего не говоря, Боб открыл свою голубую папку на коленях, сделал мне знак подойти и поднял вверх палец, призывая к вниманию, чтобы ни одна деталь не ускользнула.

— Взгляни, что я сделал, — прошептал он.

Боб начал листать этюды, выполненные углем.

Вот его улица, старинные дома, которым давно пора на снос. Задумчивый клен на углу. Затем другие улицы, новые микрорайоны. Парочки, льнущие друг к другу в глубине белого листа.

Я поймал себя на том, что отодвинул руку Боба и сам стал листать этюды. Мгновенно узнавал я черты нашего города. Но в каждом рисунке открывалась какая-то новая деталь, нежный изгиб ветки, шаг человека, радушно открытая калитка, и я диву давался, как все это подметил и открыл Боб. Перевернув последний лист, я не мог оторвать глаз от окна.

— Ты сразил меня, Боб! Другого слова подобрать не могу...

— Знаешь, Вику, в последнее время работы у меня было немного, за день две-три ленты для венков. Чтобы не терять времени, я тут стал малевать...

— Умоляю тебя, не придуривайся. Непременно продолжай малевать, Боб. Или не понимаешь, какой у тебя глаз? Какая рука?..

ВАЛЕРИЯ

И мне и Лорике показалось, что занятие по химии наш репетитор провел что надо. А после него Лорика пригласила меня к себе на день рождения. В воскресенье. Сказала, что будут несколько одноклассников, рядом с которыми мне гарантировано хорошее самочувствие. Я обещала прийти, хотя и не знала, как отреагируют мои предки.

Вечером я прочла несколько страниц романа, который Виктор мне одолжил с доброй дюжиной предупреждений: если потеряю, не сносить мне головы, не рассчитаться всем отцовским состоянием...

Когда я сказала маме, что в воскресенье собираюсь к Лорике, она довольно кисло отнеслась к моим словам, спросила, кто еще будет. И я ответила, что на Лорикино торжество приглашена уйма кавалеров. Глядишь, еще и влюблюсь по уши в одного из них.

— Замечательные планы, — едко похвалила меня мама, принимающая близко к сердцу все, что ни скажу. Она оставила меня в покое и пошла настраивать отца, чтобы он провел со мной воспитательную работу. В нашем семействе — он высшая инстанция, улавливающая конфликты между мной и мамой и требующая отчета за допущенные грехи.

Жду, что дальше. За работу не принимаюсь. Ведь скоро раздастся стук в дверь, папа войдет и начнет переговоры. Я собираюсь с духом, как перед ответственным событием... А вот и стук в дверь.

— Входите, пожалуйста! — ору я во всю глотку.

Отец переступает порог моей комнаты и оставляет дверь приоткрытой. Это для мамы, чтобы не пропустила ни единого слова в нашем дипломатическом раунде.

— Опять ты что-то ищешь на свою голову?

— Почему «опять»? Разве я уже однажды делала что-то такое?

— Мне мама как-то жаловалась...

Это первая папина ошибка, и он за нее поплатится, потому что он послан не для того, чтобы защищать маму допотопными методами царя Гороха. Мама даже подсовывала ему Сухомлинского и учила его действовать более тонко. Правда, одного не учли мои родители: горя желанием воспитывать меня по системе Сухомлинского, натолкнулись на мое сопротивление, — не хотелось мне чувствовать себя глиной в их руках. Не всегда я это показывала явно, но втихаря поступала, как хотелось мне, а не им вместе с Сухомлинским.

— Мама не могла тебе жаловаться, потому что я ничего особенного ей не сказала. Просто сообщила, что в воскресенье пойду к Лорике на день рождения и еще добавила, что у нее будет ватага ребят, а я влюблюсь в кого-нибудь из них. Я вижу, что у нас в квартире даже пошутить нельзя... шутку встречают в штыки или принимают за скверное признание.

— Не огорчайся, Валерия, — не то приказал, не то попросил отец.

— Устраивать перед экзаменами такую проработку — это уже слишком, — перешла я в контрнаступление.

— В самом деле.

— Тогда будем считать воспитательную беседу исчерпанной, — воскликнула я, чтобы услышала и мама за дверью.

— Нет, у меня есть одна мысль, и я хочу с тобой поделиться.

Помимо других добродетелей, мой отец наделен чудодейственной способностью комбинировать, выдумывать, изображать. Когда он в хорошем расположении духа, так и сыплет замыслами, только успевай вникать.

— Послушай внимательно, что я тебе скажу... Тут пахнет пирогами и пышками... На днях повстречался я с приятелем из вечерней газеты. Он ищет выпускной класс, который бы выступил с инициативой — пойти после школы работать на фабрику. Само собой, слава об этом классе прошумит по всей стране. Представляешь, газеты напечатают фотографии на первых полосах, все вы станете героями нашего времени. Для этого требуется всего-навсего созвать комсомольское собрание, увлечь одноклассников призывом. Что скажешь?

— Да? Но...

— То, что ты хочешь возразить, ерунда. Не собираешься работать на фабрике? Главное — начало. В конечном счете даже нет нужды, чтобы все до одного пошли на фабрику. Пусть некоторые отсеются. Это не меняет сути дела.

— И Виктор Мугур не согласится. Он же хочет играть в футбол.

— Какое тебе дело до этого пижона?

— Меня не это тревожит, а совсем другое. Как я могу выйти перед классом и без зазрения совести предложить всем пойти на фабрику, а после этого прокрасться вдоль забора и сдавать приемные экзамены в институт?..

Мама, как я и подозревала, стояла за приоткрытой дверью и почувствовала, что необходимо подкрепление, иначе отец, какая он ни высшая инстанция, может дрогнуть и отступить, тогда рухнет и вся инициатива. Она прошла на середину комнаты, встала между мной и папой, устремив на меня взгляд своих зеленых глаз.

— Для тебя родители что-то значат или нет?

— А как же, мама? Вы родители, этим все сказано...

— Тогда завтра же созови комсомольское собрание и предложи. Пока не поздно. Как бы вас не опередили.

— Мама совершенно права, — отец, разумеется,

поддержал ее. — Но перед этим мне еще надо переговорить с приятелем: он подыщет предприятие для вас.

— Ты хотел сказать, подыщет предприятие для них, — поправила мама.

— Кажется, я так и сказал.

— Нет, иначе у тебя вырвалось. А слово, как известно, не воробей...

— Тогда я найду сейчас телефон приятеля и уточню все эти моменты.

Поначалу идея отца не очень пришлась мне по вкусу, но через некоторое время я распалилась. Интересно, как отнесутся одноклассники? Не засмеют ли? С другой стороны, представляется случай остаться всем вместе, и это очень привлекательно. Наверно, ради этого я отказалась бы от института и пошла бы вместе со всеми.

Вечером того же дня отец сказал, что переговорил со знакомым из вечерней газеты. Тот согласился написать очерк и предложил нам податься на обувную фабрику «Зориле». Машина была запущена, пыхтела, норовя тронуться с места. Недолго осталось ждать той минуты, когда она наберет бешеную скорость. Завтра я должна посоветоваться с директрисой и поговорить с одноклассниками.

Я легла спать, обняв Муцунаке. Он мурлыкал возле уха, но это не успокаивало как прежде. Мысли прогоняли сон. Долго ворочалась я с боку на бок, пока, наконец, не забылась.

Приснился мне странный сон, что я мужчина в расцвете сил и зовут меня ни больше, ни меньше, как Христофор Колумб. И, конечно же, я моряк. Подобрал я себе в порту каравеллу, команду отважных и неунывающих матросов и отправился в Индию. Много дней и ночей бороздил наш парусник океанские просторы, покуда не явился ко мне вахтенный, похожий на Виктора Мугура, и доложил, что мы сбились с курса.

Я приказала помощнику капитана, похожему на нашего Цугуя, выбросить дурного вестника за борт, пусть хлебнет соленой водички. Похожий на нашего Цугуя направился к похожему на Мугура, связал по рукам и ногам, но не бросил в пучину (это я позже узнала), а пожалел и запер в пустой каюте. Когда мы вот-вот должны были открыть Америку, что-то случилось — то ли Муцунаке захрапел, то ли за дверью что-то грохнуло, и я проснулась.

Проснулась Христофором Колумбом, а, открыв глаза, оказалась обычной Валерией Карайон. За окном не океан вздымал валы, а разгорался весенний день. Я почувствовала, что мне дарован еще один погожий солнечный день и приветствовала его.

— Доброе утро, утро мое!

Я спрыгнула с дивана в длинной ночной сорочке, направилась в ванную. В прихожей носом к носу столкнулась с папой, поглаживавшим свежевыбритое лицо.

— Что нового в Европе? — спросил папа, будто подсмотрел мой сон.

— Ветер дует в паруса...

— Расскажи подробней, горю нетерпением.

— Приснилось мне, что я Христофор Колумб, вот-вот открою Америку, но я проснулась, и Америка осталась неоткрытой.

Отец удивленно присвистнул, потом добавил:

— Главное, что ты была Колумбом... Америка откроется тебе, ты ступишь на ее землю и откроешь ее людям.

Я наскоро выпила утренний кофе и в хорошем настроении вышла из дому.

ВИКТОР

Сегодня я проснулся сам — решил пожалеть маму, избавить ее от заботы — шепнуть мое имя в приоткрытую дверь — пускай, думаю, поспит лишних полчаса. Нелегко ей самой быть и главой семьи, и рабсилой, и домохозяйкой, хотя всегда она может рассчитывать на меня как на мужскую опору и правую руку.

Но... Но не всегда я так свободен, чтобы сбегать, куда надо. И не настолько искусен, чтобы справиться с любым делом по дому. Потому и понимаю, что маме нелегко приходится.

Отец ушел, когда я был в шестом. К тому времени они прожили вместе тринадцать лет. Мама как-то сказала, что если бы удалось перейти за эту чертову дюжину — может, и продолжалась бы совместная жизнь. В ее шутке была горечь. Понимала она, бедняга, понимал и я, умник эдакий, что жизнь их стала сплошной мукой, отчуждение и несовместимость настолько терзали их, что они мечтали хоть день-два отдохнуть друг от друга.

Любопытное дело: родители мои, каждый из них в отдельности — человек по-своему хороший, понятливый, я бы даже сказал, не чуждый мудрости. С любым из них можно поговорить на любые темы, они отзывчивы и готовы помочь даже чужому, отдать последнюю копейку попавшему в беду. Короче говоря, в характере обоих свет преобладает над тьмой. И все же вместе друг с другом эти два одинаково близких мне человека — мать и отец — не могли ужиться. Два электрических провода, при соприкосновении которых вспыхивают огненные вихри, короткое замыкание. Стычки между ними вспыхивали довольно часто, иногда из-за пустяков и разрастались до неимоверных размеров. Господи, как изводили меня эти скандалы! В эти минуты оба становились для меня невыносимы.

Когда я перестал быть несмышленышем и не мог больше терпеть этот ад, я становился между ними, поднимался на цыпочки. Они успокаивались, но нервы скрипели, как резко нажатые тормоза. Я тогда прижимался к маме и умолял:

— Перестаньте ссориться. Плохой день, когда вы цапаетесь.

— Папочка твой виноват, скажи ему об этом.

Я находил отца, обнимал его со слезами:

— Убегу из дома, если вы будете еще ссориться.

— Сынок, милый... Неужели я такой ужасный?

— Нет, не такой.

— Каждый раз я говорю себе, обещаю не встревать в эти скандалы, и потом нарушаю слово. Как-то незаметно разгораются эти стычки. И не могу совладать с собой...

Чем я мог им помочь? И рад бы найти средство от их раздоров, да не под силу. Лишь позже я понял, что острые перепалки между родителями были всего-навсего островками в океане, охватывавшем все их взаимоотношения. Не стало между ними былой любви.

Интересно, сколько лет способна длиться любовь?

Во всяком случае, та, что связывала моих родителей, едва дотянула до тринадцати лет и угасла, подобно костру, прогоревшему до основания. Изо дня в день становилась мне заметней холодность, отчуждение, угнездившиеся в нашей квартире. И только в отношении меня как отец, так и мать оставались неизменными, как прежде. В один из дней я заметил — у меня заплаканные глаза. Сердце мое сжалось от боли. Казалось, ничего ужаснее в нашем доме быть не может. После тренировок я не спешил домой.

Несколько лет длились эти лихорадочные дни, холод в отношениях, хотя за окном таяли снега, лопались почки тополей возле балкона, возле дома расцветали кусты роз, а в нашей квартире конца краю не было стуже. Мама обнимала меня, целовала в макушку, ласково приговаривала:

— Сыночек, портим мы тебе детство, мешаем спокойно вырасти.

Все мы боялись дня, который должен был наступить.

Каждый из нас на свой лад отодвигал его.

Но он пришел — нежданный-незванный. Как-то после обеда я вошел в прихожую и показалось странным — каких-то предметов не хватало, прихожая выглядела просторной, но этот простор нисколько не радовал. Я стал осматриваться и заметил, что на вешалке нет папиных вещей — ни пиджака, ни плаща, ни туфель, ни зонтика. Я подбежал к платяному шкафу и ужаснулся — не было рубашек, костюмов, галстуков.

Растерянно и беззащитно остановился я посреди комнаты и заплакал. Поднял руки вверх, будто просил потолок повернуть время вспять.

Я не знал, что делать. С кем посоветоваться? И вдруг меня осенило — пойти к Штефану Штефановичу.

Так я и сделал. Быстро вышел из дому и почти бегом, не глядя, куда ступаю, понесся к учителю. Я знал, где он живет, потому что около года назад Штефан Штефанович в свой день рождения не пришел в школу, у него уроков не было в тот день. А мы его ждали с большим букетом сирени. После занятий мы узнали в учительской его домашний адрес и все вместе двинули к нему.

Не знаю, может наш классный забыл, какой у него торжественный день... Увидев нас у ворот с букетом сирени, смутился, как школьник.

А мы, стоя у дощатых ворот тихого городского дворика, хором кричали, скандировали, размахивая душистой сиренью над головой.

— Поздравляем с днем рождения, Штефан Штефанович!

Наш классный открыл калитку, впустил нас во двор, ласково поглаживал по плечам, проводил нас в дом, в большую комнату, где висел ковер во всю стену, рассадил. Потом позвал жену, тоже учительницу языка и литературы, только в другой школе. Увидев нас, она удивленно всплеснула руками.

— Где ты раздобыл такой красивый букет мальчишек и девчонок!

Услышав, какие мы цветочки, мы залились румянцем. А хозяйка принялась хлопотать, накрыла на стол, угостила нас на славу. Когда мы собирались уходить, она предложила:

— Ребята, на день рождения Штефана Штефановича приходите к нам каждый год... Вы же последний класс, которым он руководит... А запомнить совсем не трудно: приходите, когда зацветет сирень.

И мы радостно согласились, пообещав, что будем приходить, пока не окончим школу, да и после окончания...

Сгущались вечерние сумерки, когда я постучал у калитки, и Штефан Штефанович спросил с крыльца:

— Кто там?

Я ответил голосом хриплым от плача и волнения:

— Это я, Виктор Мугур.

Он открыл калитку, впустил меня во двор. Заметив, что мне неохота заходить в дом, сказал:

— Не будем комкать важный разговор, если в нем есть нужда... Зачем на ходу?.. Войдем в дом, поговорим по душам...

Он не стал вникать в дело, пока я не успокоился за чашкой чая. Потом постепенно завязалась беседа. Я говорил, Штефан Штефанович уставился неподвижным взглядом в точку над моей головой и слушал не перебивая. Когда я умолк, он после короткой паузы спросил:

— Что же ты теперь собираешься делать?

— Не знаю, — сказал я, — у меня такое впервые.

Он встал, надел пиджак и предложил:

— Пойдем... поговорю с твоей мамой.

— Но я хочу, Штефан Штефанович, чтобы у меня были оба...

К тому времени отец ненадолго заглянул домой. Он ждал меня, чтобы проститься. Увидев Штефана Штефановича, как-то поник, растерялся. У него на губах словно растаяли слова, которые он хотел сказать мне.

Не по себе было и Штефану Штефановичу, но он попросил меня выйти погулять на несколько минут, так как хотел поговорить с родителями. Так я и сделал, хотя мысленно остался в квартире рядом с мамой, папой, нашим классным. Ведь я знал, речь пойдет обо мне, о моем будущем.

Когда я вернулся, меня заверили, что ничего в моей жизни не изменилось, только родители будут жить врозь, но я, как и раньше, смогу видеться с ними. Отец будет брать меня на субботу, воскресенье. Мы будем вместе гулять, ходить на рыбалку.

Таким образом у меня появился папа для выходных и праздничных дней.

По-настоящему я понял, что это значит, всего через несколько дней. Когда долговязый шалопай из нашего дома обидел меня, а я ему в сердцах пригрозил:

— Вот поладешься ты моему отцу, балда!

Верзила по-жеребячьи зареготал и сплюнул:

— Ну и напугал... Весь дом знает, что предок улизнул от вас за тридевять земель.

У меня потемнело в глазах, но в следующий миг я увидел валявшийся дрын, подхватил его как палицу, и кинулся на обидчика. Тот заорал во всю глотку:

— Безотцовщина разобиделась...

И так кинулся бежать, что только пятки засверкали.

Отец приходил за мной, и мы целый день бродили по городу и окрестностям, располагались на бе-

регу озера с удочкой и целыми часами ждали рыбацкого счастья. Очень редко удавалось что-то поймать, зато вдоволь говорили, толковали. Я заметил, что после ухода отца из дому стал гораздо искренней с ним.

Трудным был для меня тот день, когда отец привел меня в незнакомую квартиру, усадил, поставил какое-то угощение и из другой комнаты привел женщину, едва касаясь ее локтя.

— Это тетя Санда, — голос отца заметно дрожал. — А это Виктор, мой сын, — показал он на меня, и голос его окреп.

В эту минуту я, кажется, готов был провалиться сквозь землю. Но пропасть не разверзлась и я в нее не шагнул. Просто стоял перед женщиной, разглядывавшей меня, не в силах поднять на нее взгляд.

Но и это был не конец моим терзаниям, как я потом понял. Вскоре в комнату вбежала разгоряченная от игры девчонка моих лет, отец подвел ее ко мне и представил:

— А это Лорика, сестричка.

Откуда ни возьмись у меня появилась сестра.

И вот я должен пойти к ней на день рождения. Ума не приложу, что ей купить.

В школе у меня не выходила из головы мысль о подарке. Вот так всегда, когда бьюсь над решением серьезной житейской проблемы, меня непременно вызывают. Первым уроком у нас была астрономия. И, конечно, меня вызвали. Хорошо, что я успел выучить урок, не то схлопотал бы два балла на созвездиях Млечного Пути.

Я же выпутался, назвав несколько звезд из созвездий Скорпиона, Стрельца, а когда добрался до Веги, решил открыть новую звезду и назвал ее Веснушкой. Никто в классе не заметил подвоха, полагая, что я где-то вычитал про эту звезду, но учительницу мое открытие озадачило.

— Где ты отыскал такую звезду?

— На небе вчера вечером...

— Сам же и дал ей имя?

— Не оставлять же безымянной...

— Может, ты ее кому-то подарил?

— Пока не успел.

Я прошел на место, получив четверку. Подумал: кому бы подарить Веснушку. Повернулся к Валерии.

— Дарю тебе Веснушку.

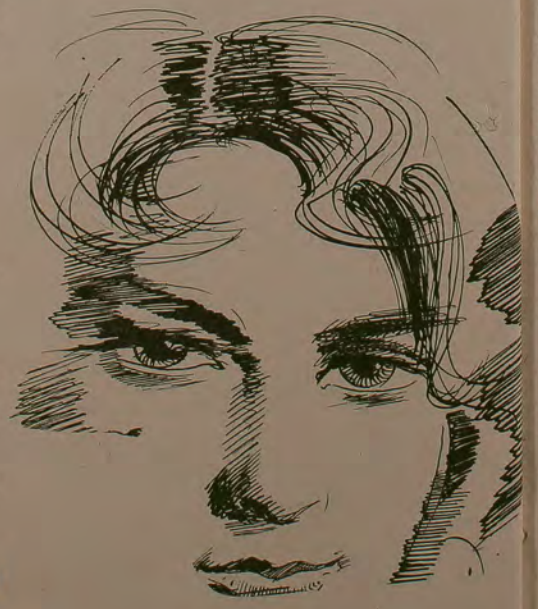
— А что с ней делать?

— Выйдя ночью из дому, зажги свою звезду и при ее свете прочти «Сто лет одиночества».

Она не ответила, но я почувствовал — какое-то волнение томит ее. Похоже, у нее какая-то тайна, она ее еле сдерживает.

Вообще-то, если лучше присмотреться, совсем не дурна собой Валерия, напускающая на себя загадочность...

Перевод с молдавского М. ГРИГОРЬЕВА



У КИОСКА

Семь часов утра. Стеклянный киоск возле железнодорожной платформы. Прозрачный насквозь, киоск всем своим видом словно говорит: газет еще нет, сам жду — не дождусь.

Пожилая киоскерша время от времени продает то пачку сигарет, то шариковую ручку тем, кто торопливо сворачивает сюда.

Очередь с пониманием относится к таким внеочередным покупателям, без раздражения подпускает их к окошку.

Кто в очереди? И деловой человек с портфелем, который пораньше вышел из дому, чтобы успеть перед работой раздобыть «Огонек» или, если совсем повезет, «Московские новости»; и отставник в спортивной форме, прервавший свой бег трусцой ради «Звездочки», «Ветерана»; и бригада железнодорожников в форменных фуражках, закончивших смену и не спавших сутки; и студентки, спешащие на семинар и щебечущие про «Бурду».

Очередь завивается спиралью. Смотрит в ту сторону, откуда должно приехать такси, доставляющее по утрам коричневые бумажные мешки со свежей прессой.

Иные, поглядывая на часы, убегают: их время истекло. Очередь уплотняется.

Тем временем мимо киоска пробегает другой утренний бегун. Он на ходу сообщает: в киоск возле парка — километра два отсюда — газеты давно доставлены.

Люди вертят головами. Наконец, показывается такси. Оно останавливается шагах в тридцати от киоска, из машины выходят мужчина с женщиной, берут чемоданы из багажника. После этого такси подкатывает к киоску.

Дверцу открывает разбитной водитель средних лет с красным обветренным лицом.

— Хватайте пакеты с новостями!

Мужчины, стоящие первыми в очереди, с готовностью выгружают коричневые бумажные мешки и передают киоскерше. Отставник в спортивной форме язвительно говорит шоферу:

— А ты, батенька, заставляешь себя ждать. Развозишь левых пассажиров, пока мы тут томимся...

— Какие они левые, — примирительно усмехается краснолицый шофер. — Наши люди, на поезд опаздывают...

Михаил ХАЗИН

Один из железнодорожников вставил:

— Да разве его проймешь?.. Высаживает пассажиров на виду у всех!..

Шофер огрызнулся:

— Какой же я таксист, если хотя бы десятку не положу в свой карман?

Бумажные мешки выгружены за одну-две минуты. Хлопнула дверца машины. Такси покатило к другому киоску.

Или куда-нибудь еще?

Начинается бойкая утренняя продажа свежих газет, журналов. Люди жадно набрасываются на новости: кого еще сегодня вывели на чистую воду? Что еще делается, чтобы жизнь стала лучше?

Железнодорожник в форменной фуражке, купивший целый ворох новостей — от «Гудка» до «Московских новостей», от вчерашней «Вечерки» до завтрашней «Литературки», посмеивается над собой:

— Время такое — хоть уходи с работы и только читай газеты.

РОЗЫ

В конце тридцатых годов в Даниловский приемник, расположенный в монастыре, помещали детей репрессированных, то есть арестованных и чаще всего расстрелянных врагов народа. Сотни мальчиков и девочек жили в бывших кельях, кормились в трапезной, получая назначенную им арестантскую пайку. В ожидании пересылки в другие детские учреждения приобщались к общественно-полезному труду.

Писатель Иосиф Дик, сын известного революционера Иона Дика-Дическу, тоже был одним из юных обитателей приемника в Даниловском монастыре.

К 1938 году, рассказывал Иосиф Дик, множество могил вокруг давно закрытого монастыря сравнялось с землей, пребывало без надгробий и памятных знаков. Трудно было судить, кому они принадлежат, кто в них похоронен.

Руководство детприемника поставило задачу перед жившими в нем мальчиками и девочками — раскапывать захоронения, искать запаянные цинковые гробы. Поскольку в ту пору любая деятельность велась под определенным лозунгом, то и эта работа не осталась без мобилизующего призыва. Лозунг звучал так: «Стране нужен цветной металл!».

В переводе на более простой язык это означало: отыщи цинковый гроб. В таких наглухо запаянных ящиках обычно лежали покойники с дорогими орденами, золотыми украшениями.

Счастливчик, которому повезло найти в раскопках такой клад, получал на обед дополнительную порцию каши или макарон.

Однажды Иосиф Дик вместе с другими мальчиками раскопал цинковый гроб. Его извлекли, раскрыли. Когда крышку подняли, в нем оказался на редкость хорошо сохранившийся нарядный человек с золотой розой на груди.

В соответствии с инструкцией, при обнаружении драгоценностей, имеющих отношение к искусству, следовало немедленно вызвать музейного специалиста для консультации. Так и поступили.

К тому времени, когда прибыла вызванная женщина-музейщица, труп уже почернел, почти превратился в труху.

Увидев золотую розу, искусствовед ахнула:

— Да это же великий музыкант Николай Григорьевич Рубинштейн. Он умер в Париже... Чайковский положил ему на грудь золотую розу...

В тот день отличившиеся на раскопках отпрыски врагов народа получили дополнительные порции.

Иосиф Дик подрос и, не дождавшись призывного возраста, мальчишкой ушел на фронт — защищать Родину от фашистов. Немало пришлось ему повидать смертей и могил. Взрывом на поле боя оторвало Иосифу Дику кисти обеих рук, изрешетило тело осколками. Искалеченный, безрукий, истерзанный, он писал свои книги, много ездил. Незадолго до своей смерти Иосиф приезжал в Молдавию, путешествовал по Днестру. Хотелось ему повидать эту землю, прикоснуться сердцем к тому краю, что был близким и родным его отцу.

Помню, Иосиф Дик с пристрастием расспрашивал меня о молдавском селе Выхватинцы, где родился старший из братьев Рубинштейн, Антон Григорьевич, автор оперы «Демон». Не знаю, удалось ли Иосифу заехать в Выхватинцы, но его туда тянуло...

На литературных встречах Иосиф Дик рассказывал о своем отце, о своих книгах, о себе. Правда, про годы, проведенные в Даниловском детприемнике, тогда еще нельзя было публично рассказывать.

После одной из таких встреч смуглая молдавская девушка поднесла Иосифу Дику букет золотисто-желтых роз, и он взволнованно прижал их к груди — тем, что осталось от его рук.

ОНА ЗДЕСЬ ПЫТАЛАСЬ ЖИТЬ...

Фаина, смуглая, узколицая, с прямыми черными волосами, была самой способной и самой странной ученицей нашего класса. Помню, однажды у нас был диктант. Екатерина Осиповна подобрала отрывок из «Мертвых душ», который трудностью своей поверг в задумчивость шумную нашу братву. Встреча Чичикова с Собакевичем нас не веселила.

Мы напряженно вслушивались в чтение Екатерины Осиповны, пытаясь в лад интонациям мысленно расставить знаки препинания: «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихоструннного тинькания».

Все настороженно и подавленно молчали, думая о деле. Только Фаина засмеялась, живо представив себе Собакевича.

— Успокойся... Или ты хочешь нам сорвать диктант?

С трудом укротила Фаина попавшую ей в рот смешинку.

На другом уроке Фаине как-то сказали:

— Если тебе неинтересно, можешь идти...

Словно так и надо, Фаина спокойно собрала сумку и вышла.

Или такая у нее блажь проявилась где-то в седьмом классе: «Почему мальчики должны уступать место девочкам? Это ущемляет равноправие». Фаина пыталась сама уступить место одноклассникам — то в библиотеке, то в спортзале.

Писала Фаина на редкость грамотно. Даже в фразе Гоголя, которая рассмешила ее, ни единой промашки не допустила.

А в институт не прошла. И в свой райцентр не вернулась. Так и осталась в городе. Работает в маленькой библиотеке, мыкается то на одной квартире, то на другой. То угол у какой-то бабушки снимет.

Когда я однажды пытался позвонить ей домой по телефону, отозвалась другая девушка. Я спросил, живет ли еще Фаина по этому адресу. Девушка ответила словами, запомнившимися своей необычностью:

— Она здесь пыталась жить...

Потом я все-таки встретился с Фаиной, поговорил и, между прочим, рассказал, как разыскивал ее по телефону. Она выслушала с улыбкой, ее узкое смуглое лицо мило посветлело:

— Она здесь пыталась жить... Недурно сказано. Наверное, такие слова можно будет выбить на моем надгробье...

УШЛЫЕ СОСЕДИ

Жили по соседству, на одной лестничной площадке, две семьи. В одной из них был дедушка-ветеран, инвалид войны. Старик был прикреплен к магазину, где обслуживали только заслуженных людей. Выдавали по их заказу что-то вроде пайка — целый набор продуктов: сухую колбасу, сыр, консервы, растворимый кофе.

Отношения между соседями в многоэтажках — известно какие: живут близко друг от друга, а держатся на расстоянии.

Правда, старичок или его жена звонили к соседям, предлагали:

— Вам не нужен пакет масла? Или баночка кофе?

Соседи с благодарностью принимали то, что им уступал ветеран, которому возраст уже не позволял насладиться всеми благами, включенными в паек.

Настал день — старик-ветеран умер. Похороны прошли скромно и почти незаметно для жителей подъезда.

А когда бабушка (жизнь берет свое!) через несколько дней пошла в магазин для ветеранов за продуктами, а заодно и сообщить, что умер ее кормилец, ей в магазине удивленно сказали:

— Как?! Совсем недавно приходила ваша соседка! Как ни в чем не бывало, взяла паек — дескать, старик попросил помочь!..

Расстроилась старушка, что соседка оказалась такая ушлая.

Но продавщица успокоила ее:

— Не расстраивайтесь, бабушка! Мы вас не вычеркнем из списка. Хотя вы и домохозяйка, будете получать у нас паек как жена инвалида войны...

СОКРЫТИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

— Что же вы скрывали свои биографические данные? — сочувственно, с доброй усмешкой

офицер из военкомата.

С грустной и совсем не виноватой улыбкой смотрел ему в глаза мой давний приятель Саша, вернее — Александр Федорович, хороший работник, человек с незапятнанным именем.

В самом деле, какой же он Саша, если ему скоро на пенсию пора?

Сидели они друг против друга в строгом военкоматском кабинете, офицер не скрывал любопытства: впервые ему такой странный случай встретился. Вот наоборот — сколько угодно... Но как у Саши... Простите, как у Александра Федоровича — это же надо уметь...

Но Саша, вернее, Александр Федорович, удивляется его удивлению:

— Что же тут необычного? Скрыл — и скрыл...

В двух словах его история вот в чем заключается. Когда Саша вернулся с войны, ему был 21 год. К этому времени он успел пройти от Днестра до Одера, участвовать в освобождении трех европейских столиц и под Братиславой получить нешуточное ранение — осколком фугасного снаряда угодило в правый бок. Сломало два ребра, задело позвоночник. Хирург пошутил: бес в ребро ткнулся, говорит, задолго до того, как седина просочилась в бороду.

Правда, в госпитале нечистую силу изгнали умело и решительно: известно, у победителей раны заживают гораздо быстрей, чем у тех, кто потерпел поражение. А если еще вдобавок победитель молод, мечтает о девушках, о танцах, о свадьбе... И все же выписали Сашу из госпиталя с бумагой инвалида третьей группы. Из лечебного корпуса вышел, опираясь на палочку, осторожно спускаясь по белым мраморным ступеням.

Вернувшись в родное село на Днестре, Саша и не подумал регистрироваться как инвалид. Бравировать, что кровь проливал.

Без этого, что ли, не о чем рассказывать? А если открыть свое инвалидство, казалось ему, в глазах девушек он будет выглядеть калекой, развалиной... Кому это нужно? Да и самочувствие у Саши было прекрасное: словно на крыльях летал. Бегал, танцевал, плавал. А палочку давно выкинул...

Потом женился на Клаве. Работал. Пошли дети. И если раньше не сказал о своем увечье, то стоило ли теперь?.. А льготы инвалидам в те времена были такие мизерные... Вот так и получилось, что не оформил Александр Федорович своих инвалидных документов.

Прошло тридцать с лишним лет. Уже на работе начальниками стали люди помоложе его. И, глядишь, раненным на войне почет оказывают. Особенно если на работе вышла заварушка какая, конфликт с мастером, каждый свои заслуги не забывает выставить...

А еще грустнее, что с годами — сначала робко, потом все настойчивей, — стала напоминать о себе давно затянувшаяся рана. Словно обидевшись, что о ней забыли, чуть ли не стыдились признать ее, теперь она давала прикурить... Пришлось Александру Федоровичу купить в аптеке «трость прогулочную», — стал ходить, опираясь на палочку.

И в райвоенкомат пришел, постукивая палкой по тротуару. Похоже, на этот раз бес основательно вцепился в его ребро. Да и седины в бороде стало изрядно.

Выслушав Александра Федоровича, военкоматский офицер нашел в ящике с картотекой его документы. Извлек их — и ахнул:

— Все есть! И справка из госпиталя. И заключение медкомиссии. Где же вы были, Александр Федорович? Больше тридцати лет вас ждали эти бумаги.

— Не нужны они мне были... А теперь пришло время... Меня будто не на войне, а на склоне лет ранило — впервые...

— Нет, зря, Александр Федорович, вы скрывали свои биографические данные. Надо было к нам прийти... Много потеряли...

— Может быть, не потерял, а нашел. Прожил жизнь здоровым, неизломанным человеком...

НА ЩИТЕ

Дом отдыха в тихом лесном поселке оказался уютным и вполне симпатичным.

Комната с видом на озеро, деревянная кровать с тумбочкой, стол с настольной лампой под зеленым абажуром. На стене — застекленная картинка в золотистой рамочке, запечатлевшая нечто похожее на то, что видно из окна: берег озера, плакучие ивы, лодка на приколе.

Кормежка — что о ней говорить? Если вы когда-нибудь отдыхали в подобных домах, она вам известна. Для нас, принадлежащих к поколению, которому голод знаком не понаслышке, — терпимо. И даже вполне. Мы в еде не разборчивы.

Но я не об этом хочу... О другом.

Лег я, значит, в первый вечер в свою белоснежную постель. Вытянулся и блаженствую, усталый с дороги. Чувствую, как-то давит бока. Вроде бы пружинит кровать, а вроде и нет. Что за чертовщина?

Я не поленился, посмотрел. Оказывается, у меня под матрацем лежала широкая гладкая доска. Щит. А уже под ним, под щитом, подрагивает металлическая сетка.

«Интересная вещь, — подумалось мне. — Зачем тут щит?»

Я вспомнил, как лежал в больнице — со спортивной травмой. После операции на ахилловом сухожилии нога находилась в гипсе. Тогда-то я впервые в жизни спал на щите. Ничего страшного, уверяю вас. Вообще-то спать на твердом даже полезно. Недаром боевые полководцы предпочитали ночлег на бивуаке — пуховым подушкам и перинам в изнеживающей спальне.

Но все-таки давит под боком... Конечно, я мог стряхнуть с себя сонливость, встать с кровати и вытащить щит. Постель стала бы ласковей... Никто бы и словом не попрекнул. Но я этого не сделал. Почему? — спрашиваю я себя. — Неужели из лени? Или из привычки воспринимать любую ситуацию — как данность, к которой легче самому притерпеться, чем приспособить ее под свой вкус? Не знаю... Наверно подействовало сознание, что спать на щите — даже здоровому, — полезно. И еще я не без удивления подумал: прямо-таки трогательно, как тут заботятся об осанке постояльцев?! Ладно, потерплю, буду спать на щите, — решил я, ворочаясь с боку на бок.

Утром ко мне постучали в дверь. Вошла нянечка в белом халате.

— Как вам спалось? Не очень жестко?

— Ничего, зато полезно. Со щитом, как говорили древние спартанцы

— Вот-вот, я вчера забыла вытащить щит. Он у нас для тех, у кого позвоночник болит. С вашего разрешения, заберу щит в другую комнату...

С тех пор я больше не ворочаюсь с боку на бок по ночам, не убеждаю себя, что если уж так случилось, надо терпеть и терпеть...

ПАМЯТИ ОТЦА

Бессарабцев в эвакуации называли «западниками». Обычно их брали на «трудфронт», особенно пока война лютовала в пределах нашей страны. Большего им пока не доверяли. Таков был приказ главнокомандующего, который, как известно, избытком доверия не баловал.

Трудовым фронтом для моего отца в Орске, на Южном Урале, стала работа на большом заводе тяжелого машиностроения. Мы — я, мама и больная тетя — жили вместе с ним — сначала даже не в бараке, а в общежитии человек на двести, где у каждой семьи были свои двухэтажные деревянные нары. Круглая печка-буржуйка стояла в центре общаги, иногда накаляясь докрасна, и круглые сутки не стихал гомон, смех, перебранка идущих на смену и со смены, женские крики, детский плач.

Завода, собственно, не существовало. Было оборудование, станки, агрегаты, эвакуированные с захваченных врагом земель. Глыбы металла, стоящие вдоль веток заводских железнодорожных путей, и поезд въезжал, словно в ущелье — впритирку к стенам, как поршень в насос.

Спешно закладывался фундамент новых цехов, основания будущих стен. На цементном полу устанавливались, монтировались станки под открытым небом, потом уже над ними сооружали потолки.

Отец мой тогда наскоро выучился на сцепщика. Платформы, закрытые вагоны прибывали каждый день в большом количестве, и транспортный цех возводимого завода маневрировал — можно сказать, жонглировал массой вещей. Тяжелые составы расчленялись на группы вагонов и подавались на разгрузку туда, где это было наиболее целесообразно для будущего монтажа, порожняк оперативно откатывался, тяжелые портальные краны надсадно утюжили колею днем и ночью, в дождь и метель.

За смену отец делал сотни сцепок и расцепок. Много раз довелось мне видеть его в работе. Вот он, молодой, без шапки, ветер развевает волосы, стоит на шпалах, рядом с вагонным буфером. На него медленно надвигается толкаемый маневровым паровозом «овечкой» вагон. Кажется, вот-вот его расплющит. Так мало места между вагонами, стукнувшимися пружинящими буферами.

Но места, оказывается, достаточно. Папа, орудуя тяжелыми серьгами, крюками, успевает мгновенно сцепить вагоны, ловко пригнувшись, выбирается из-под них, вскакивает на ступеньку тормозной площадки и рукой дает знак машинисту паровоза, свистит в заливистый свисток.

Ему откликается паровозный гудок короткими звучными сигналами. Один короткий означает: «Двигаюсь вперед». Два коротких гудка — это «даю задний ход»...

Я люблю наблюдать за этой ладной работой, прислушиваться к перекличке заливистого свистка с паровозным гудком. Это был подвижный, толковый, веселый разговор под лязг вагонов, шипение тормозов, сухое потрескивание лебедок. Изредка в эти звуки вплетался человеческий голос — крики «майна», «вира», «подставляй башмак!». Еще реже слышалась сквозь шум и грохот простая человеческая речь. Перекуры в ту пору были короткие и яростные. Люди спешили, старались не терять ни минуты.

Каждый помнил, что не просто отрабатывает смену, а своими руками делает что-то, чтобы приблизить победу. Чтобы скорей освободили от фашистов родную землю, а Гитлеру наступил капут.

Отец мой, худощавый, ловкий, быстроглазый, любил свою работу. Он быстро схватывал смысл маневра, замысел диспетчера, хотя и неважно владел русским языком. На ходу он легко впрыгивал и спрыгивал с поезда, в тесных ущельях нагроможденного металла чувствовал себя, как рыба в воде. Работу свою делал с некоторой молодой лихостью, что побуждало людей постарше, трудившихся бок о бок с ним, одергивать его:

— Осторожней, Гриша! Не рискуй!

Папа дружелюбно отмахивался от замечаний:

— Какой тут риск по сравнению с фронтом?!

13 ноября 1943 года я возвращался из школы, расположенной в соцгородке, к нашему общежитию. Мела суматошная южно-уральская метель. Я был в курточке, весь продрог, на ветру ужасно замерзли, раскраснелись руки. Ни варежек, ни пальто... Возле нашего общежития стоял грузовик, у бортов которого столпились люди, рыдала мама. Я подбежал, встал на заднее колесо, подтянулся...

На дощатом дне кузова лежал на спине мой папа — в ушанке, в черной замасленной фуфайке. Под носом у него, словно усики, — две струйки запекшейся крови.

— Негабаритное оборудование... — донеслись до меня обрывки фраз.

— Несчастный случай...

— Жалко, такой молодой... И ребенок еще маленький...

— Как же так?..

Это была обычная рабочая смена. Как обычно, перекликался заливистый свисток с паровозным гудком. Как обычно, на пустырь сгружали с платформы тяжелые конструкции. Как обычно, вагоны втягивались в узкое железное ущелье, как поршень в насос.

И вдруг отец, стоявший на ступеньках вагона, выгнулся, забыл про осторожность, словно хотел что-то услышать, разглядеть, — рассказывала дежурившая в тот день стрелочница.

— Может быть, его кто-то окликнул, позвал?

— Нет... Никто его не звал.

Что же там такое было необыкновенное, так поразившее его, заставившее забыть все на свете?

...Вечером погибший отец лежал в общежитии на нижних нарах, оплакиваемый мамой и другими бессарабскими женщинами. У каждой из них было кого оплакивать.

Добрые соседи взяли меня на свои нары на ночь, но мне не спалось. Ночью вернулся со второй смены чумазый рыжий дядька Симон. Подошел к нашим нарам, где вместо свечи горела плошка и женщины плакали тихо, чтобы не будить тех, кому рано утром на работу, чтобы Гитлеру скорей наступил капут.

Чумазый рыжий Симон, — родом, кажется, из Бельц, — сказал:

— Сейчас я вам открою, что его так потрясло... Сейчас... К нам на завод привезли работать румынских пленных... Гриша услышал их речь... Он очень скучал по дому... По этому языку...

Одна из женщин запричитала громче, на нее зашикали...

На другое утро приехал грузовик, привезший сосновый гроб. Добрые люди помогли нам с мамой похоронить отца в мерзлой уральской земле на пустынном кладбище возле соцгородка...

Через много лет после этого я прилетел в Орск. Город похорошел, разросся, стал неузнаваем. Центр его сместился туда, где в дни войны стояло наше общежитие с нарами. А на месте пустынного степного кладбища теперь обширный парк, у памятника жертвам войны горит вечный огонь. Папиной могилы я, конечно, не нашел, поэтому положил к общему надгробью ветку цветущей молдавской сирени, не успевшую завять, пока я добирался из Кишинева в Орск. Во время войны эта дорога в эшелоне для эвакуированных заняла около месяца.

Я ТАК МНОГО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ...

До последних дней своей жизни моя мама жила одна. За долгие годы горькой вдовьей доли свыклась с одинокой жизнью. С опрятностью, предусмотрительностью, а уж о труде и говорить нечего.

Да, я жил неподалеку, на другой улице. Да, почти под боком. И вроде бы всегда был готов помочь. Выслушать. Успокоить.

Но заходил к маме далеко не каждый день. А когда переступал ее порог, тоже надолго не засиживался.

Зайду — и мама начинает хлопотать: торопливо ставит чайник на плиту, моет яблоки. И одновременно расспрашивает. И рассказывает. С душевным волнением, даже растерянностью, странными для такой обыденной встречи, мама перебивает себя:

— Я так много хотела тебе сказать... Пока ты не приходил, я обдумывала... Память у меня еще, слава богу... А когда ты приходишь, у меня сразу вылетает из головы. Только уйдешь, я опять все вспомню... Ладно, возьми яблочко.

Я обычно утешал маму:

— Ничего страшного, успеешь... Мы увидимся еще много-много раз. Расскажешь...

...Та, которую люблю, — сама того не подозревая, какими-то чертами похожа на мою маму.

Бывает, я надолго уезжаю из родного города. Звоню домой. И слышу в трубке милый, чуть растерянный голос:

— Ой, я так много хотела тебе сказать...

Наверно, каждому знакомо это состояние: так много пережитого, выстраданного накопилось, так хочется выразить это в слове, излить душу в разговоре с другом. Или, в к конце концов, сесть и написать.

И, преисполненный решимости, ты садишься за стол. Перед тобой стопка хорошей белой бумаги (бумага непременно должна быть хорошей, глянцевой, вызывающей желание прикасаться к ней). Сидишь. Настраиваешься. Держишь перо наготове. Слово готово сорваться. Но будто запеклось в горле.

Чего же тебе не хватает? Писание — это ведь прямой провод, связывающий тебя с миром. С вечностью. С богом. Понимаешь, прямой провод.

Вот доступ к этому телефонному аппарату. Говори! Что же ты канителишься, отлынниваешь, медлишь? Разомкни уста. Открой пасть! Секунды несутся вскачь на зеленом электронном табло.

С волнением беру телефонную трубку, произношу пересохшими губами:

— Я так много хотел сказать...

В ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Дом грека Кацики, где в пору южной ссылки Пушкина размещалась масонская ложа (ныне там музей декабристов), стоял неподалеку от дома Стамати (к сожалению, не сохранился). Впрочем, семейства Кацики и Стамати были не просто соседями, а состояли хоть и в дальнем, но все-таки родстве. Упоминаю об этом затем, чтобы дать представление о месте, где находился одноэтажный дом Стамати с просторным двором и тенистым садом.

Известно, что Александр Сергеевич Пушкин нередко виделся с молдавским писателем, заходил к нему домой вместе с Липранди, присутствовал на его литературных чтениях. Слушал, как Стамати читал «Федру» Расина в своем переводе на молдавский.

Гораздо менее известно, что важную роль в жизни Стамати, в том, что он стал писателем, сыграл другой русский писатель — Павел Петрович Свиньин, приезжавший в Кишинев за несколько лет до Пушкина. Можно сказать, что не будь Свиньина, может быть, Костаке Стамати и не стал бы писателем.

Случилось так, что приехав по государственным делам в Кишинев, петербургский литератор, путешественник, чиновник остановился в доме Стамати. Молодой Костаке в ту пору размышлял, сомневался, какую выбрать дорогу — литературную или иную. Он поделился своими терзаниями с многоопытными гостем, успевшим повидать мир: до приезда в Бессарабию Павел Петрович исколесил всю Россию, побывал в Америке, издал ряд книг.

Много беседовали Свиньин и Стамати — и в доме, и в саду, и в прогулках по городу, и в поездке по Бессарабии: петербургский гость попросил наместника, чтобы в поездке по Бессарабскому краю его сопровождал Костаке Стамати, и наместник, естественно, не отказал столичному «ревизору».

Павла Петровича Свиньина очень интересовал Аккерман, Овидиополь, он обсуждал с Костаке, где именно возможное место ссылки Овидия, беседа непринужденно касалась многих граней творчества, после чего Свиньин решительно заключил: Костаке должен избрать литературное поприще.

Всю оставшуюся жизнь Стамати был сердечно благодарен Павлу Петровичу Свиньину за его совет, за благословление — пойти по тому пути, который соответствовал его способностям и внутренним устремлениям.

После отъезда Свиньина из Кишинева Стамати воздвиг в саду, возле своего дома, невысокую колонну, установил на ней гипсовый бюст Анакреона, под которым значилась надпись: «Памяти П. П. Свиньина».

Ныне Павел Петрович Свиньин почти забыт. Я бы сказал — незаслуженно.

Костаке Стамати остался в памяти потомков как классик молдавской литературы.

БЕГА И СКАЧКИ

Бега и скачки на кишиневском ипподроме памятны еще по описаниям младшего современника Пушкина — Костаке Негруци.

Уже в ту пору, как свидетельствуют мемуары, в Кишиневе существовал закрытый манеж. В 1834 году было создано общество по забегам. Размеры выигрышей колебались от 500 до 1500 рублей. Каждый член общества вносил годовой взнос в размере 25 рублей и мог выставить на соревнования лишь одну лошадь.

Бега проводились в мае и сентябре. Дистанция — 6 километров. Болельщикам запомнились кобыла Турчурика из конюшен Мелелиу, Актер и

Ахиллес братьев Суручану, Альбом — Донича, прошедшие дистанцию за 9—11 минут.

Конные заводы, конюшни породистых лошадей, вспоминает краевед Георге Безвиконный, некогда были распространены в Бессарабии, а жокей-клуб в Кишиневе был одним из примечательных заведений города.

Весенние и осенние соревнования на ипподроме превращались в праздник.

Революция смела барские поместья с их теплицами, конюшнями, беседками.

Коней оседлали. Кони ушли на войну. Выстроились в эскадроны...

КОСЬБА КОЛИБАБЫ

В 1909 году земским начальником в Комрате Бендерского уезда был Максим Колибаба, высокий красивый молодой человек, учившийся в Одессе в Ришельевском лицее.

Приезжая домой на каникулы, Максим никогда не гнушался работы в поле, крестьянских дел. Бок о бок с отцом, матерью, братьями держался, бывало, на прополке. Городское ученье не сделало его неженкой-белоручкой. Плуг и мотыга слушались его не хуже, чем карандаш и ручка.

Став начальником, Максим Колибаба продолжал «крестьянствовать», не мог усидеть на писучей должности, чем вызывал подтрунивание соседних помещиков — иногда добродушное, иногда не очень.

Богатый землевладелец Георге Цанко-Кельчика, которому принадлежали поместья в селах Садык, Бэрэган, Тартаул, Бештемак и еще некоторых, увидев Максима Колибабу в комратском казино, неизменно затевал с ним перепалку:

— А-а, господин салонный щеголь, честь имею. На лакированном паркете вы прекрасно смотритесь. А как насчет попотеть в поле?..

— В чистом поле легче дышится, — весело отвечал Максим Колибаба. — А как ваше настроение — насчет благотворительности?.. Не надумали пожертвовать деньги на открытие женской гимназии?

Посетители казино, попивая терпкое шабское вино и закусывая гагаузской кавурмой, внимательно прислушивались к их разговору. Максима Колибабу все знали как ревностного поборника женского равноправия, просвещения. Мечтой Колибабы было открыть в Комрате женскую гимназию. Лицей, как тогда было принято называть в Бессарабии подобные заведения. Казна, конечно, денег на это доброе дело не давала. Надежда оставалась одна — на благотворительные взносы толстосумов.

Однако кошелек таких, как Цанко-Кельчика, не так-то легко распахивался — подстать их душе.

— Скажите, господин Колибаба, а сколько у вас гектаров овса поспело? — поинтересовался однажды высокомерный помещик.

— Десять гектаров, — скромно отозвался Колибаба.

— И сколько косарей собираетесь нанять? — не без издевки осведомился господин Георге Цанко-Кельчика.

— Пожалуй, с такой работой я и сам мог бы управиться, — задетый за живое, парировал Колибаба.

— Не смешите меня! Десять гектаров овса — не шутка... Тут нужны прилежные сильные косари... Куда вам, салонному джентельмену... До второго пришествия не справиться вам с такой работой...

Сидевший в углу казино седой и, видимо, захмелевший старик процедил, запинаясь:

— А не заключить ли вам пари?

— Браво! — хлопнул в ладоши азартный Цанко-Кельчика, ни в чем не знавший удержу.

— Пари — так пари! — согласился Колибаба. — Уж если на то пошло дело, давайте не мелочиться.

Казино загудело. Все посетители собрались у столика, где сидели Цанко-Кельчика и Колибаба. Совместно разработали условие спора.

Максим Колибаба брался — в одиночку — убрать овес с десяти гектаров за две недели. Если не выполнит условия, то выплачивает господину Георге значительную — соразмерно его, Колибабе, возможностям — сумму. Если же пари проиграет господин Георге, он — единолично — жертвует деньги на постройку женского лицея в Комрате.

По рукам! Возбужденные гости казино уточнили день начала косьбы, создали комиссию наблюдателей за ходом работы, уточнили график ее дежурств, осушили еще по бокалу шабского и, весело галдя, разошлись.

На другой день Максим Колибаба вышел в поле с косой, по утренней росе начал вжикать. Неторопливо, степенно, с крестьянской размеренностью, словно никакие сроки его не поджимают, никакие потери не грозят.

Весть о необычном пари разнеслась по окрестным селам, чуть не по всей Буджакской степи. Через несколько дней стали наведываться любопытные — кто на каруце, кто на бричке, кто верхом. Колибаба махал косой как заправский косарь, кивком приветствуя знакомых. К концу дня Колибаба аккуратно укладывал в копны то, что успел накосить к заходу солнца.

Многие бессарабцы приезжали посмотреть «косьбу Колибабы», в их числе был и Гавриил Безвиконный, отец краеведа и писателя Георге Безвиконного, зафиксировавшего этот эпизод.

За одиннадцать дней Максим Колибаба не только убрал овес, но и по-хозяйски сложил в копешки. Проигравший пари Георге Цанко-Кельчика выплатил 87 тысяч рублей, на которые в Комрате была построена женская гимназия.

Последний день косьбы Колибабы превратился в настоящий праздник. Весь Комрат радовался и гудел:

— Ай да земский начальник!

— Душа-человек!

— Землю понимает, не превратился в бумажного червя.

— Отдать бы ему в невесты самую лучшую девушку на свете...

Кажется, все сословия были единодушны, выражая чувство признательности и восхищения Максиму Колибабе.

Начальство, однако, сочло, что подобное поведение наносит ущерб... авторитету государственной власти.

Колибабе пришлось уйти в отставку.

КЛУБОК

Наблюдая за собой, когда брался за ручку и склонялся над чистым листом, не без некоторого удивления обнаруживал я, что легче и охотней пишется о недавно увиденном, услышанном, затронувшем, чем о выстраданном, имеющем отношение к тому клубку, который каждый из нас в себе носит.

Почему же? — допытывался я у себя. — Ведь должно быть наоборот...

Конечно, должно. Но клубок, сами знаете, очень запутан, конец нити где-то глубоко спрятан. Чтобы ухватиться, похоже, надо разорвать какой-нибудь виток.

Что ж, так и сделаем. А если и после этого нить не разматывается? Рвать дальше? Распутывать?..

А только что увиденное — оно, по-своему, завершено, стало эпизодом, более или менее легко поддающимся пересадке на бумагу.

Пересаживай. А к горлу подкатывает клубок. Или комок, не все ли равно? Это он... Требует: пока живешь, распутывай, разбирай, что там накопилось в твоей жизни.

КАЗНЬ

Публичной казни сам я, правда, никогда не видел, хотя, сложись обстоятельства немного по-иному, вполне мог бы стать очевидцем. Но людей, которые своими глазами видели такое, я видел неоднократно, слушал их рассказы.

Сам же я видел всего лишь виселицу — на сельской площади в Петрищеве. Ту, на которой фашисты повесили Зою Космодемьянскую. Много лет после войны эту виселицу не выкорчевывали, сохраняли в селе как напоминание об отваге и мученичестве. Потом одумались, снесли ее, отказав ей в праве на существование даже как мемориальному знаку...

Поезд «Молдова» под гулкий перестук мостовых пролетов пересекал Днепр, за вагонными окнами сверкали огни вечернего Киева. Снежинки роились у зеленоватых фонарей. Один из соседей по купе — высокий смуглый мужчина с короткими усами, с залысинами, — мы уже знали, что его зовут Алеша, — сказал:

— Помню, в такой же зимний день я тут, в Киеве, видел, как вешали фашистов...

— Да ты вроде слишком молодой, чтобы это помнить, — усомнился пожилой железнодорожник дядя Паша, ехавший вместе с женой в Тулу отмечать семидесятилетие фронтового друга.

— Успел, дядя Коля, я такой...

— Что же тебе запомнилось такое необычное, а? Какие подробности? Расскажи, а мы послушаем...

И Алеша рассказал, как вместе с мальчишками пришел на запруженную народом площадь, прилегавшую к Крещатику. В центре площади стояли бревенчатые виселицы, с перекладин свисали петли. Под каждой виселицей — грузовик. В кузове лесенка — несколько ступеней, преступник и охрана. Преступник поднимался на высшую ступеньку, на него накидывали петлю, грузовик отъезжал...

— Где же ты, Алеша, находился, откуда смотрел?

— Э-э, целая история... Киев лежал в развалинах, а возле площади устояла одна стена. Мы по ее уступам, по камням, поднялись на самый верх, за нами другие — мальчишки, взрослые... Столько народу, что вдруг стена зашаталась, вот-вот рухнет. Люди стали спрыгивать, сыпаться с нее на голову другим.

— А на деревья мальчишки взбирались?

— Какие там деревья?! Не было тогда деревьев. Одни руины...

Запечатлелось в памяти Алеши, как в судорогах корчились повешенные — комендант Киева, другие гитлеровцы: выгибались на весу, подтягивали колени к подбородку... А один — так получилось — волчком завертелся на веревке, с нарастающей быстротой. Вероятно, от быстрого вращения веревка перетерлась, он сорвался. Тогда грузовик урча снова подъехал к виселице, его снова подняли на лесенку...

Дядя Коля сказал:

— Вот теперь я вижу, Алеша, что ты там был...

— А вам почудилось — сочиняю? Или пересказываю старые романы про королей и кардиналов?

БОЛЕЛЬЩИК КАСПАРОВА

Зовут его Владимир Иванович Вартанов. В зеленом кишиневском дворике на улице Армянской сухощавый и бойкий старик сидит за столиком под навесом из виноградной лозы, склонившись над шахматной доской. На доске — заключительная позиция двадцать второй партии матча на первенство мира. Та самая позиция, где Каспаров не стал благоразумно защищать свою атакованную пешку, а сделал блистательный ход — конь d7. Владимир Иванович второй месяц не устает анализировать, любоваться красотой вариантов, возникших после этого хода.

На застекленной веранде показался мясник по фамилии Мельник, сосед и неизменный противник Владимира Ивановича в шахматах.

Зиновий Мельник любит шутку с подковыркой, поэтому весело говорит:

— Владимир Иванович, одолжи мне немного твоего ума.

— Твой покойный отец однажды попросил у меня взаймы немного ума, так и умер должником. Ты только посмотри, Зиновий, какая красивая позиция...

Зиновий Мельник только прикидывается простачком. Но в тактических тонкостях гамбитов и контргамбитов разбирается не хуже, чем в грудинке и филейной части. Да Зиновия, если хотите знать, приглашают на банкеты к доцентам и профессорам. Тосты перед такими выходами в свет он заранее заказывает знакомому юмористу, который приходит к нему за мясом. А тосты юморист прямо на базар приносит. Такие, что тянут на мясо первой категории. Зиновий по бумажке заучивает их, потом блистает в застолье, как гроссмейстер остроумия.

Надо отдать ему должное: шутит он по-писаному только на высоких банкетах. А в таких рядовых случаях, как легкая пикировка с соседом, довольствуется собственными ресурсами. Кстати, они не так уж малы. Владимир Иванович знает способности Зиновия: он, говорит, из блохи жир вытопит, из печеного яйца живого цыпленка высидит.

Маленький, сухощавый Владимир Иванович обычно и зимой и летом носил на седой голове черную, с желтым орнаментом тюбетейку и с неутомимостью муравья сновал по городу. То в магазин за покупками — как исправный семейный снабженец. То сдавать бутылки на приемный пункт. В авоське Владимира Ивановича, которую он нес на стеклопункт, среди бутылок из-под минеральной воды «Варница», глядишь попадалась и тара с красной наклейкой. Изредка старик разгонял глотком каберне стынущую кровь. Интересовало его как общественника-корреспондента многое: и работа жилищной конторы с трудными подростками, и родственники художника Айвазовского, жившие в Бессарабии, и среди прочего — шахматы — любые соревнования. Его информации о шахматных баталиях всегда носили один и тот же заголовок: «На шахматных перекрестках». В свои восемьдесят с лишним лет Владимир Иванович играл еще азартно, изобретательно. Но, конечно, понимал он шахматы лучше, чем играл в них.

По многолетним его наблюдени-

ям, игра эта больше, чем обычные человеческие дела и даже поступки не то что выявляла, — до самого дна высвечивала характер играющего, вплоть до самых извилистых и глубинных закоулков. Сколько доводилось видеть Владимиру Ивановичу бравых молодцев (послушать такого — сорви-голова, да и только, редкостный смельчак и мыслитель), а за доской оказывается — тусклая озлобленная посредственность, закусивший удила дуболом.

Из белых квадратов дней погружаясь в темные клетки ночей, бойко переступал Владимир Иванович из года в год, обдумывал и оценивал свою жизнь, — порой, самому смешно, — в шахматных терминах. Молодость виделась задорным дебютом, разыгранным на свой страх и риск, без должной подготовки. Откуда ей было взяться? А какие глупые, дурацкие ходы случалось делать! Просто немыслимо... Сколько раз приходилось по краю пропасти пробираться, когда ступня так и норовит соскользнуть по осыпающимся камням...

Предметом тайной гордости Владимира Ивановича было то, что и в игре, и в жизни он гораздо больше любил жертвовать, чем принимать жертвы. Когда же вынужден принять данайский дар, старался вернуть его сторицей. Тихий бухгалтер, корпевший годами над счетами, он за шахматной доской превращался в рыцаря без страха и упрека, неутомимого искателя красоты и приключений. Из будничного практицизма, скучного и тусклого, он вырывался, словно сделав рокировку в ослепительно яркий, алмазными гранями сверкающий мир.

И вновь оказывался низринутым в свой дворик на Армянской улице, под навес натянутых виноградных лоз, проиграв очередную партию мяснику по фамилии Мельник. Что делать?.. Играл Владимир Иванович в шахматы хуже, чем понимал их. И нередко утешал себя в неудачах словами Эйнштейна, сказанными Ласкеру, что играл бы и он в шахматы, если бы можно было просто играть, без выигрыша и проигрыша.

Последней душевной привязанностью в шахматах стал для Владимира Ивановича Каспаров. Старик, переживший на своем веку увлечение многими кумирами — от Алехина до Таля, от Петросяна до Фишера, — даже не ожидал от себя такой прыти — да чтобы на склоне лет, когда тебе уже за восемьдесят, так раскочегарилась топка, таким огнем горела душа! Мальчик... — так он про себя называл — и вслух последнего своего любимца — Гарри Каспарова.

Годы отнимали у Владимира Ивановича Вартанова один ход за другим. Он уже перестал пописывать заметки в местную газету о работе жилищных контор и торговых точек. Когда шел сдавать посуду на стеклопункт, держа в руке авоську, в ней были только бутылки из-под минеральной воды. И никаких других. Высокое давление мучило его неотступно, как вечный шах.

Болеть за юного Каспарова из зеленого своего дворика в провинциальной тиши, следить за его титаническими подвигами на Олимпе — на это Владимира Ивановича еще хватало. Он так много думал о своем кумире, так жадно вникал в каждую газетную статейку о нем, что казалось, стал чувствовать его на расстоянии, как охваченная тревогой мать всем существом чувствует ушедшего на войну сына. И если ненастной ночью ее мальчика в окопе настигла вражеская пуля, мать за тридевять земель от фронта просыпалась с воплем, вырванная вещим и страшным сновидением из чуткого и усталого забытья.

— Этот Каспаров — он кто, азербайджанец? — как-то спросил Владимира Ивановича его партнер Зиновий Мельник.

— Почему ты так думаешь?

— Он ведь из Азербайджана, из Баку... — простодушно объяснил сосед. И добавил: — О себе он совсем неплохого мнения...

— Да ты, брат, мыслитель, — насмешливо отозвался Вартанов. — Настоящий Спиноза, особенно со спины...

— А в вашем Каспарове есть что-то от Фишера... — обидчиво парировал Зиновий. — Самоуверенный малый...

— Фишер — это ведь означает «рыбак», — как всякий старый бессарабец, Владимир Иванович по части языков не страдал недостатком познаний. — Вот и было бы интересно посмотреть поединок рыбака и, скажем, карпа...

— Любите вы словами поигрывать... — покачал головой Зиновий Мельник, не то порицая, не то восхищаясь забавной склонностью старика.

В самом деле, Владимир Иванович любил смаковать слова по буковкам. С видом первооткрывателя обнаруживал он, что фамилия «Карпов» целиком поглощается фамилией «Каспаров» — всего две лишние буквы. Или, что фамилия «Шукшин» и «Пушкин» — почти из одних и тех же букв. Владимир Иванович даже напевал частушку, посвященную «Карпову—Каспарову»:

Добрались до самой выси.
Наши «гроссы» — высший класс.
Есть у шахматной Каиссы
Замечательный КАР-КАС.

У Владимира Ивановича сохранился старый номер шахматной газеты «64». Ага, вот он. Номер сорок второй за 1975 год. Вот заметка, в которой рассказано о борьбе за шахматный кубок Баку. Она озаглавлена: «Обладателю кубка — 12 лет». Сражалось больше ста шахматистов. В финал вышли шестиклассник Гарри и мастер Павленко. О победе «мальчика» над «мужем» в газете сказано так: «В финале старший по званию встретился с 12-летним Гарри Каспаровым (ранее мы знали его как Вайнштейна, а теперь он носит фамилию матери)».

Впрочем, в происхождении ли суть? Прав Зиновий, когда говорит: бык после себя оставляет шкуру, человек имя. Суть в том, что мальчик, — Владимир Иванович готов был дать на отсечение свою седую голову, — мальчик — из самых лучших, какие только могут быть на свете. В наш век расчетов и практичности так смело и красиво отстаивает романтический парус... Красоту, которая дарит радость.

Когда в матче-реванше Каспаров одну за другой проиграл три партии, за неделю растеряв, словно промотав, драгоценное преимущество, накопленное долгими и тяжкими трудами, старик Вартанов от огорчения и тревоги слег. Зиновий подшучивал:

— Ты настоящий больной: изюминку в семи местах откусываешь...

Владимир Иванович лежал на диване в своем дворике на Армянской улице, над ним золотились, тихо осыпаясь, тронутые осенней ржавчиной резные виноградные листья. И душу старика разъедала ржавчина. Что случилось с мальчиком? Из какой тучи нагрянула беда, которую никак не предвещала вроде бы вполне определившаяся и не сулившая таких внезапностей логика борьбы.

— Боюсь, как бы мальчик не сломался, — скрывая злорадство, кряхтел Зиновий Мельник. — Эти горячие гении такие хрупкие...

Честно говоря, и старик этого боялся. Он пытался представить, о чем думается мальчику в эти черные дни неудач. Когда на голову Владимира Ивановича обрушивалось внезапное несчастье, в памяти его невольно всплывали какие-то неприглядные поступки, грехи, которые, может быть, притягивали кару, как во время грозы одинокое дерево в поле привлекает удар молнии. Но мальчик... За что ему казнить себя?.. Кто знает... У каждого человека свои счеты с совестью...

После трех поражений мальчик не сломился. Устоял. С блеском выиграл матч. Был увенчан венком из лавровых ветвей, привезенных из Сухуми.

Владимир Иванович Вартанов в эти солнечные осенние дни поправился, встал с дивана, снова надел тюбетейку, опять стал ходить то в магазин, то в ЖЭУ. Зиновию Мельнику он сказал:

— Если даже после волнений этого матча я остался жив, значит, еще, наверное, поживу на свете...

ДОВОЕННЫЕ ФОТОКАРТОЧКИ

В бессарабских селах до войны фотокарточки были большой редкостью, и ими очень дорожили. Причем далеко не только теми, где изображен близкий, родной человек. И, наверное, даже не теми, с которых глянцевито отсвечивали «симпатичные позы». Дорожили, может быть, просто фотографией, карточкой, картонкой...

В самом деле, люди из глуши, да еще не слишком состоятельные, фотографировались тогда разве что при особых обстоятельствах, как позволяли себе вкусно поесть лишь в случае болезни. Кто фотографировался в те времена? Невеста в белой фате и жених в пиджаке с высокими плечиками; человек, отбывающий солдатскую службу в дальних краях или, по меньшей мере, тот, кому довелось съездить в город. А мало ли народу скоротало свой век в селе, так и не повидав города с его чудесами?

Когда началась война, в первые же недели нашествия фашисты вступили в Бессарабию. Еврейские жилища опустели. Те, кто недавно еще обитали в этих домах и хатенках, либо успели эвакуироваться вглубь страны, либо оказались в гетто (за колючей проволокой или без колючей проволоки) в указанном районе проживания.

Наспех покинули они свои очаги, подгоняемые грозными событиями или прикладами гитлеровцев. С собой прихватили, в лучшем случае, лишь то, что могли унести в руках. А руки матерей, известное дело, во все времена были заняты детьми. Руки же отцов, если отцы оказывались рядом, а не были еще мобилизованы, — нехитрыми пожитками да съестными припасами, хоть на ближайшие дни.

Что же касается стариков, старики, когда это от них зависело, предпочитали остаться дома и — будь что будет — умереть в своих четырех стенах, никого не обременяя собой напоследок.

Конечно, фотографии тех, кто покинул жилища, остались висеть, где висели.

Имущество их — завидное ли, убогое — разграбили. Сбили висячие замки с железными кольцами, засовы с отогнутыми ушками, взломали створки дверей. Грабили гитлеровцы, грабили их холуи, приложили руку и те, чьи головы туманили разгул и безнаказанность погромов...

Но тут не об имуществе речь. Удивительна судьба фотографий, оставленных в сельских и местечковых жилищах. Заглядывали в эти скорбные дома и обожженные солнцем пахари, люди с натруженными руками. И многие из карточек, застекленных, обрамленных или просто приколотых кнопками к стене, перекочевали в молдавские крестьянские хаты. В углах висели темные иконы, золотисто горели огоньки лампад, а со стен смотрели лица недавних соседей...

Находились эти соседи где-то за тридевять земель от родных мест. Или в приднестровских гетто — в условиях, которые должны были привести их к гибели. Или уже вовсе тлели в окрестных оврагах, во рвах и в ярах.

Лишь на фотокарточках неизменными оставались эти старики с пейсами, невесты и женихи, пригнувшие друг к другу головы, эти дети с большими темными глазами, ждущие, когда из фотоаппарата «вылетит птичка».

В молдавских селах висели фотографии на стенах крестьянских домов, как бы напоминая о дружеском соседстве, в котором десятилетиями жили здесь простые молдаване и евреи до той кровавой войны.

Сразу же после освобождения Бессарабии (оставалось еще больше полугода до минуты, когда Гитлер в бункере выпьет свой яд) из эвакуации стали возвращаться домой обломки раскиданных войной семейств. И вот тогда-то иные из вернувшихся, придя в гости к соседям, обнаруживали на стенах забытые довоенные фотографии. Свои и своих погибших родственников. Фотографии уцелели...

Люди, узнававшие себя, своих близких, не могли сдержать слез... А вместе с ними плакали и те, у кого сохранились фотографии.

Я видел это. И не забуду. Мне было тогда двенадцать лет.

КНИГА

В родном моем селе Пражила в ту пору, когда я родился, не каждый дом мог похвастать, что в нем есть книга. А если и была, то ее больше чтили, чем читали.

Когда бабушка Лея, мать моего погибшего отца, говорила:

— Так сказано в книге, — то это значило: никаких сомнений в истинности печатного слова быть не может. Сказано — значит так и есть. Точка.

Бабушке Лее принадлежала пухлая, в темнокоричневом кожаном переплете книга, унаследованная ею от ее родителей. Книгу эту она берегла, как святыню.

Но когда я родился, рассказывает мама, бабушка сделала две вещи: первым делом разорвала папину сорочку на пеленки и закутала меня в эти обрывки — чтобы всю жизнь любил отца и был привязан к нему. Во-вторых, принесла свою книгу и велела матери положить в мое изголовье, под подушечку — чтобы опять же любил книгу и был привязан к ней.

Нашими ближайшими соседями в Пражиле были Тучаковы, честная, дружная и бедная семья молдавских крестьян. Плугарей, как у нас говорят. Они жили через забор от нас. Володя, их старшенький, был моим ровесником, остальные трое — Ваня, Марioара, Веруца — мал мала меньше. Когда в пору моего младенчества у мамы пропало молоко, меня (вместе с Володей) кормила грудью тетя Докица Тучакова. А когда тяжело захворал Володя, тетя Докица пришла к бабушке Лее — одолжить книгу, чтобы положить ему в изголовье и тем самым отлучить, отвадить напасть. И бабушка Лея не отказала... Судите сами, помогла ли книга, если Володя

Тучаков стал человеком богатырского здоровья, а сегодня он один из лучших бригадиров полеводческой бригады в нашей Пражиле.

Вторая глава книги моей жизни — эвакуация, самолеты с крестами, бомбящие и обстреливающие эшелон с беженцами, горящие теплушки в хвосте состава. Вижу себя, десятилетнего, на Урале, в Орске. В пути умерла бабушка Лея, затерялась в скитаниях войны ее темно-коричневая книга. Погиб отец.

Нам не до книг. Черная тарелка радиорепродуктора — вот что теперь интересует каждого... Но все-таки...

По дороге от нашего барака в школу надо было пройти мимо двух примечательных мест — тылового госпиталя и базара. Мы, мальчишки, безотцовщина, частенько останавливались возле инвалидов, сидевших на госпитальном дворе, а то и выходивших на базар на своих костылях, в перевязках.

Помню, возле базара неунывающий инвалид без одной руки както загадал обступившим его людям странную загадку:

— Всё — туда! Что это?

Мы, мальчишки, тоже ломали голову: что бы это могло быть?

Женщина в брезентовой робе высказала предположение:

— Война? Фронт?

В те дни не только перед глазами, в душе у каждого жили эти слова: «Всё для фронта! Всё для победы!»

— Нет, — сказал инвалид. — Другое... Всё — туда!

— Может, это — смерть, могила?.. — сказал седобородый старик.

— Нет! — возразил инвалид. — Ну, кто угадает, тому награда — пайка хлеба.

Мы с моим одноклассником Эдиком изо всех сил старались, да не по нашим зубам, видать, был орешек.

— Ну, кто сообразит? Всё — туда! — подзадоривал инвалид.

Толпа гомонила, вздыхала, посмеивалась, но с загадкой справиться не могла.

Инвалид поднял свою единственную руку и великодушно произнес:

— Так и быть, я вам скажу...

Толпа выжидающе примолкла.

— Всё туда — это Книга. Всё в неё, всё...

Как бы нехотя, первым поддакнул старик:

— Воистину так: книга... Наша память, наша боль... Всё в нее...

Инвалид своей одной правой переломил краюху черного хлеба пополам, радостно протянул куски нам с Эдиком:

— Держите, огольцы! Вам с книгой дружить... Всё — туда... Куда же еще?.. Туда. Конечно, туда.

Книги всегда разделяли судьбы людей. Иногда предвосхищали их. Фашисты жгли на площадях неугодные им книги. Потом убивали в ярах, в лагерях, в душегубках неугодных им людей. Наверно, книг на войне погибло не меньше, чем людей. Будет ли преувеличением или ошибкой сказать, что они погибли смертью храбрых? Ведь книги воистину бесстрашны.

Война еще грохотала на Дунае и в Карпатских перевалах, а мы с мамой уже вернулись из Орска в Пражилу. Учебников не хватало, домашние задания приходилось писать на полях старых газет с фронтовыми сводками. Чернила изготавливали из бузины или толченого грифеля химического карандаша. Володя Тучаков уже землю пахал, шел за плугом. Отец его, дядя Гавриил, тоже погиб на войне.

Но как-то так была устроена жизнь, что при всех лишениях, недоеданиях, бедствиях книга чудодейственно пробивалась в наше житье-бытье. Мы открывали ее, она открывала нас.

Теперь в Пражиле есть сельский книжный магазин «Луминица». Это красивое молдавское слово означает «Светлячок». Созвездие «Луминиц» охватывает почти все молдавские села.

Мне как пишущему человеку не раз случалось участвовать в торжественном открытии таких «Светлячков».

Обращаясь ко мне и еще одному коллеге-литератору, сотрудница книготорга однажды жизнерадостно заверила:

— Вы пишите, мы вас продадим! Что ж, будем стараться...

Перебирая в памяти книги, прошедшие сквозь мою жизнь, я вдруг заметил, что сложились такие строки:

До войны, когда я был еще пострел,
Мама книги мне читала, чтобы ел.

Нас войною унесло в несытый тыл.
Мне читали, чтобы кушать не просил.

Я прочел немало книг и повзрослел.
Сам теперь пишу я книги, чтобы ел...

И неважно, будут пышки или шишки.
Если что-то утоляют эти книжки.

ПУШКИНСКАЯ ДОЛИНА

Много в Молдавии красивых и живописных сел, наделенных богатым историческим прошлым и выделяющихся новыми свершениями, но, наверное, нет более воспетого, чем пушкинская Долна. То замечательное село, что обрело бессмертие, приютив юного опального поэта, подарив ему встречу и общение с цыганским табором, с Земфирой, село, ставшее духовным истоком пушкинских «Цыган».

День рождения Александра Сергеевича ежегодно отмечается в Долне как светлый, от сердца идущий праздник поэзии, свободолюбия, красоты. И наряду с бессмертными строками Пушкина здесь звучат стихи во славу Долны. Помню, с каким искренним волнением читал Григорие Виеру свои стихи у памятника Пушкину в Долне, словно обращаясь непосредственно и к слушателям, и к самому Александру Сергеевичу:

Ты с лирой северной под небом дойны
Скитался здесь... Сквозь пелену времен
Глядишь, задумчивый, как и холмы у Долны,
Где бучума протяжен стон.
С губами, опаленными томленьем
По родине (печаль осталась там),
Перед царем не вставший на колени,
Ты кланяешься родникам,
Прозрачным, звонким родникам Молдовы,
Тебе созвучным...

Осталась в памяти и смешная подробность — шутка известного литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса.

Увидев на пушкинском празднике в Долне прелестных цыганских девушек в ярких нарядах, — так сказать, местных Земфир, пришедших на торжество, Межелайтис воскликнул: «А я хочу, чтобы меня сослали в Долну!».

В Долне, возле памятника Александру Сергеевичу работы Олега Комова народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов однажды произнес загадочную, поначалу даже непонятную фразу: «Пушкин спас мой народ от гибели».

При всей любви и почтении к нашему классику, слова эти показались изрядным преувеличением. Но Давид Кугультинов возразил: ни капли преувеличения. И рассказал о трагичных послевоенных днях и годах, когда «отец народов» обрушил свой державный гнев на чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков. Давид Кугультинов разделил участь своего народа, который целиком — от маленьких детей до седобородых стариков — был сорван с родных мест и в одночасье выслан в дальние края. В газетах, по радио об этой акции, естественно, нельзя было услышать.

Даже слова «калмык» нельзя было упомянуть, оно звучало крамольным намеком, напоминанием о страданиях сосланного народа.

А тем временем в центре Москвы на Пушкинской площади, в прекрасной и глубокой своей задумчивости высился опекушинский Пушкин. На постаменте его памятника светились слова, врезанные в камень, врезанные в память поколений:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Из-за упоминания калмыка, продолжал Давид Кугультинов, некоторые ретивые чиновные головы замышляли стесать с гранита бессмертную строфу. Казалось, нет препон разгулу самовластья. Но даже в мрачную пору сталинщины на это не решились. Пушкин во всеуслышанье напомнил стране и миру о страданиях репрессированного народа. И «друг степей калмык» все-таки вернулся в родные края.

— Теперь вы понимаете, как Пушкин спас мой народ? — заключил свой рассказ Давид Кугультинов.

Запомнился и другой услышанный в Долне рассказ — о том, как волшебное и целительное слово Пушкина поддержало людей, томившихся за колючей проволокой одного из сталинских лагерей.

Молдавский писатель Алексей Маринат в послевоенный год поступил учиться в Кишиневский университет. Молодой артиллерист, с боями прошедший от Днестра до Одера, не раз смотревший смерти в пустые глазницы и немало размышлявший о жизни, готовил себя к литературному поприщу. Стремился осмыслить увиденное, пережитое. «И сердца исповедь любя, поэт высказывал себя»: он вел дневник. Иногда Алексею Маринату казалось, он слышит, как в нем переговариваются осколки. Поныне их в нем около двадцати, как подсчитали в госпитале. Мучимый этим необычным «радикулитом», записывал в заветную тетрадь иные моменты, фиксировать которые в ту пору было небезопасно. Например, о том, что в селе его детства Буторе в 1932 году, когда голод косил людей направалую, колхоз назывался «Веселые ребята». Или о том, как отступали наши войска, и в приднестровском райцентре, возле банка, горел высоким пламенем костер из сжигаемых денег. Костер из купюр.

Дневник попался кому-то на глаза, и вскоре студент-фронтовик оказался в лагере близ Тайшета — сроком на десять лет. Он принял и этот вызов судьбы, говоря словами поэта, «как принимал во дни войны он вызов ярого сраженья».

Здесь не место вдаваться в подробности лагерной жизни, но как не сказать о пушкинском юбилее в тех незабвенных условиях.

Незадолго до июня 1949 года — 150-летия со дня рождения Александра Сергеевича — зэк Алексей Маринат удостоился почетного поручения — подготовить доклад о жизни и творчестве поэта. По этому случаю ему выделили школьную тетрадку и однотомник Пушкина.

«В тюрьме и в путешествии каждая книга есть божий дар», — с присущей ему проницательностью давно заметил Александр Сергеевич. Углубляясь после тяжкого дня работы на лесоповале в мир пушкинской поэзии, до глубокой ночи работал Алексей Маринат. «И летней, теплой ночью тьма / Душна, как черная тюрьма». Доклад был написан.

«Глас поэта», с давних пор обнаруживший свойство проникать «в каторжные норы», вселял в измученные души веру в торжество справедливости, свободы.

И над Отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря? —

вопрошал докладчик в бараке, уставленном нарами. И словами поэта рассказывал зэкам, конвою, охране о милой своей Молдавии. Снова и снова звучали строки о цыганах, кочующих по Бессарабии, о Земфире, которой вольная воля дороже жизни, о чудесном селе Долна, похожем на прекрасную поэму прелестью своих пейзажей, драматичным переплетением исторических судеб.

От строчек из «Бориса Годунова» мурашки ползли по спине: «Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты... Нас каждый день опала ожидает, тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы».

Но отсутствие свободы, — эту мысль Пушкина докладчик не упустил случая выделить, — гибельно для государства: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Нетрудно представить, с каким настроением лагерная публика слушала привычные нашему слуху хрестоматийные строки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Или даже обыденную формулировку из пушкинского дневника: «Свобода есть возможность жить по своей воле...»

Шли годы, изменились времена. Алексея Марината реабилитировали. Из таежных дебрей вернулся он в родную Молдову. В его предельно скромном зэковском багаже была и потертая школьная тетрадка с докладом о Пушкине.

Много лет спустя, узнав историю этой тетради, тогдашний директор Кишиневского дома-музея Пушкина Владимир Михайлович Субботин предложил писателю Алексею Романовичу Маринату передать ее в музей...

Родник Земфиры в лесу возле Долны, где, по преданию, поэт встречался с красавицей-цыганкой, — очаровательный уголок молдавской природы. Из-под земли бьет упругая кристальная струя, образуя прозрачный, извилисто бегущий по камешкам лесной ручей.

Людям, утоляющим жажду у родника Земфиры, трудно унять волнение при мысли, что, наверное, и Пушкин некогда пил здесь родниковую воду, бьющую из глубинных пластов этой земли. И глубинным было постижение поэтом этого края.

БИБЛИОТЕКА «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Двуликий провидец

Сумрак и мрак стояли в извозчичьей чайной, куда молодой человек в пенсне зашел, блуждая по ночной Москве.

За большим деревянным столом извозчики, изрядно подогрев себя спиртным, обсуждали события минувшего дня. То и дело разговор их возвращался к случаю на Тверской, где рванувшая лошадь задавила насмерть старушку.

Старушка эта была матерью молодого человека, а молодой человек был поэтом Владиславом Ходасевичем. Шел 1911 год. Через месяц с горя по матери умер его отец. В одном из стихотворений «Дактили», при жизни поэта не публиковавшемся, он так писал о семейной трагедии:

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкой кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.
. . . . . .
В бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы,
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!
. . . . . .
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой это я.

Все в этом стихотворении сущая правда. Не знаю, был ли отец Ходасевича шестипалым, но Владислав был шестым ребенком в семье. Родился он в Камергерском переулке (теперь проезд Художественного театра) в Москве, 16(28) мая 1886 г.

Отец будущего поэта, как писала Н. Берберова («Современные записки» № LXIX, 1938 г., Париж) в статье «Памяти Ходасевича», — «...был сыном польского дворянина (одной геральдической ветви с Мицкевичем), бегавшего «до лясу» в 1833 году, во время польского восстания. Дворянство у него было отнято, земли и имущество тоже».

Так как у отца будущего поэта не было средств к существованию, он вынужден был их зарабатывать на различных работах.

Он мог бы стать художником, ибо был талантлив, но семья (он женился на дочери автора «Книги Кагала» Я. Брафмана) росла день ото дня, детей надо было кормить. Некоторое время он был фотографом, а потом перебрался в Москву и открыл на Большой Дмитровке магазин фотографических принадлежностей. В то время, когда родился Владислав, к родителям приближалась старость, обоим было под пятьдесят.

Способность к творчеству Владислав обнаружил рано. Уже в три года он хорошо читал, мечтал о балете, и только слабое здоровье не позволило ему осуществить свою мечту.

Отец отдал младшего сына в 3-ю московскую классическую гимназию, где тот учился в одном классе с братом Валерия Брюсова — Александром. Здесь на класс старше учился будущий поэт трагической судьбы (в 1911 г. окончил жизнь в Париже самоубийством) Виктор Гофман. Они познакомились, когда Владислав был в шестом классе.

Впервые в серьезную литературную аудиторию Ходасевич попал в 1902 году. Это было Московское заседание литературно-художественного кружка. Позже он слушал здесь доклад вождя модернизма Брюсова о поэзии Фета. Кружок с тех пор он посещал до 1917 г.

Окончив в 1904 г. гимназию, он поступает на юридический факультет Московского университета, но вскоре переводится на филологический.

Вспыхнувшая в России революция прервала занятия, а после ее окончания здоровье не позволило ему их продолжить. С этих пор, как считает сам поэт, начинается его литературная деятельность. В своей автобиографии он позже напишет: «С тех пор я помещал свои стихи, а также критические и историко-литературные работы во многих изданиях, между прочим — в «Весах», «Золотом руне», «Перевале», «Образовании», «Современнике», «Аполлоне», «Северных записках», «Русской мысли», «Русских ведомостях», «Утре России», «Новой жизни» и др.»

Большое влияние на начинающего стихотворца оказала поэзия Валерия Брюсова. По сути стихи 1904—1906 гг. — это литературные подражания символистам старшего поколения и в первую очередь их вождю Валерию Брюсову.

Однако в ранних стихах Ходасевича есть и конкретный адресат. Это Марина Рындина, ветреная и чувственная московская красавица из богатой семьи, которая по жизни шла танцующей походкой.

Она становится женой Ходасевича, но их совместная жизнь длилась не долго. Осенью 1907 г. она увлеклась литературным эстетом и снобом Сергеем Маковским (будущим издателем «Аполлона»), легко покинув своего незадачливого мужа.

Ходасевич тяжело переживал ее уход, но тем не менее посвящения ей с вышедшей в следующем году в издательстве «Гриф» первой книги стихов «Молодость» не снял.

Хотя «Молодость» была подражательной книгой, в ней присутствовали все темы, присущие символизму: молодость, отвергнутая любовь, смерть, невозможность взаимопонимания, но все-таки в книге был и подлинный трагизм. Он писал свои полотна мрачными красками. О любви он пишет:

И снова ровен стук сердец;
Кивнув, исчез недолгий пламень,
И понял я, что я — мертвец,
И ты лишь мой надгробный камень.

(Sanctus amor).

Брюсов был вынужден признать в своей рецензии в «Весах» (№ 3, 1908 г.): «Эти стихи порой ударяют по сердцу, как горькое признание...»

Слишком на серьезных тонах был написан сборник, поэтому следующий вышел только спустя шесть лет. Чувства, достигнув высшего накала, сгорели дотла, и на пепелище долго гулял холодный ветер растерянности, совсем не скоро он уступил место доброму ветру надежды.

Ходасевич зарабатывает на жизнь поденной журналистской работой. Все мрачно и тускло вокруг, но вот мелькнул луч света. Им оказалась Евгения Муратова, бывшая жена писателя П. Муратова. С ней он едет в путешествие по Венеции, где прошли их самые счастливые дни.

Однако уже к концу 1911 г. окончательно оформляется их разрыв. Но на сей раз чувство одиночества Ходасевич испытывал недолго. Он встретил женщину, которая заставила его забыть все прошлые неудачи и снова поверить в себя. Эта женщина была сестрой писателя-символиста Г. Чулкова — Анна Ивановна. Ей Ходасевич посвятил вышедшую в 1914 г. вторую книгу стихов «Счастливый домик». Тональность второй книги резко отличалась от первой. Даже смерть — эта извечная мрачная спутница жизни в «Элегии», открывающей сборник, зовет:

...спокойно жить и мудро умереть...

Мрачные, темные краски, которые давили на сознание и угнетали в «Молодости», сменились светлыми акварелями:

Прозрачный воздух и весна,
Ее цветочная волна...

(«Ущерб»).

Интересно отметить, что в этой книге поэт впервые обратился к творчеству Державина. Обращение к стихотворной традиции XIX века в 1914 г. было вызовом модернизму, новым школам и течениям, к которым Ходасевич всегда относился с недоверием и не примыкал официально ни к одной. Державин на долгие годы займет его ум и только после выхода в Париже биографической книги «Державин» поэт посчитает, что сказал свое слово о нем.

Во время Первой мировой войны Ходасевич по состоянию здоровья в армию не попал и к войне сразу отнесился, в отличие от многих других поэтов, с предубеждением, считал ее убийственной, и только. Он занялся переводами, чтобы зарабатывать на жизнь, и до 20-го года, как он сам говорил, перевел 15 томов только французской и польской поэзии.

В «Русской мысли» появляются его исследования о графине Е. Ростопчиной, а годом раньше в № 3 журнала «Аполлон» публикуется статья «Петербургские повести Пушкина», выходят его заметки о Лермонтове, Апухтине, Дельвиге и др.

Однако напряженная и интенсивная работа по добыванию насущного хлеба резко обострила болезнь. Сильно переживал он и трагическую гибель друга-литератора С. В. Киссина (Муни, 1885—1916 г.), который покончил с собой в марте 1916 г. Настроение у Владислава Фелециановича было самое мрачное. Тут еще открылся туберкулез позвоночника, и он вынужден был лечь в гипсовый корсет, в июне для поправки здоровья уехал в Крым.

Три месяца в Коктебеле (где его основательно подлечили и даже сняли корсет) он занимался переводами и переживал, что совершенно не может писать своих стихов.

Осенью вернулся в Москву к своей работе и там провел всю зиму.

Февральскую революцию встретил с радостью:

Не узнаю движений, лиц, речей!
Как сказочно ты, Русь, преобразилась, —

писал он.

В 1917 г. его материалы печатаются в журналах «Русские ведомости», «Новая жизнь», «Власть народа».

Сочувственно отнесся Ходасевич и к Октябрьской революции. После ноябрьских событий читал лекции в Московском Пролеткульте, работал в Театральном отделе Наркомпроса. Писал поэту Борису Садовскому, что ему близки многие идеи большевиков, хотя он всегда был и остается беспартийным.

С конца 1918 г. до весны 1920 г. Владислав Фелециановичвозглавлял Московское отделение созданного Горьким издательства «Всемирной литературы», которое поставило своей главной задачей ознакомление широких народных масс с сокровищами мировой литературы.

В 1920 г. выходит третья книга его стихов «Путем зерна», куда вошли стихи 1913—1920 гг.

В одном из очень важных стихотворений сборника «Про себя» поэт как бы проговаривался о важной черте своего характера — внутренней незащищенности перед людьми, чья похвала обидна, ибо идет не от чистого сердца, а от желания унизить. Поэтому поэт выбирает своеобразный способ защиты и «чудесный образ» свой скрывает под личиной «низкой и ехидной». Эта мысль о необходимости быть двуликим, чтобы сохранить себя от разрушений, не будет давать ему покоя всю жизнь, и в стихотворении «Памятник» уже в тридцатых годах он напишет:

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий.

«Путем зерна» название символическое и имеет глубокий библейский смысл: через умирание прийти к новой жизни — возрождению; не случайно он говорит об этом в стихах, посвященных революции:

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год.
Затем, что мудрость нам единая дана,
Всему живущему идти путем зерна.

В конце двадцатого года Ходасевич с женой переезжает в Петроград и поселяется в «Доме искусств». Здесь он написал очень важную для него книгу «Тяжелая лира», вышедшую в 1922 г.

Позже поэт уезжает с молодой поэтессой Ниной Берберовой (которая была с 1922 по 1932 гг. его гражданской женой) за границу. Никаких политических подоплек не было для отъезда, просто он решал свои личные дела. Однако потом, естественно, когда в России начался террор и стали строиться концлагеря, Ходасевич изменил свое отношение к режиму, но отнюдь не к России. Для него эмиграция, по словам Н. Берберовой, всегда была трагедией. Первое время Ходасевич жил в Берлине, потом переезжал из Саарова во Фрайбург, Прагу, Ирландию, Мариенбад, Венецию, Рим и с 1925 года окончательно осел в Париже. Здесь он начал сотрудничать как литературный критик в газете «Дни», потом в «Последних новостях» и, наконец, с 1927 г. стал редактором литературного отдела газеты «Возрождения». Надо сказать, что и тут он не интересовался политической направленностью органа, где работал. Он был весь в литературе.

В 1927 году вышла последняя книга Ходасевича «Собрание стихов», куда он включил только три сборника: «Путем зерна», «Тяжелая лира» и написанную в эмиграции «Европейская ночь».

«Европейская ночь» — сборник, поражающий своей тоской и надеждами на потерянную Родину, эта книга — вершина лирики поэта. После нее он уже не издаст своих стихов, из-за того, что постоянная нужда будет давить его, так же как безысходность и невыносимость жизни вдали от России. Он будет жаловаться. Н. Берберовой: «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать». Им часто овладевали настроения, когда он был готов покончить с собой.

В 1932 г. Нина Берберова ушла от него. Последняя женщина, которая приняла больного поэта и ухаживала за ним вплоть до его смерти, была Ольга Марголина. Ей было около сорока лет и она зарабатывала на жизнь тем, что вязала шапочки. После ухода Берберовой она стала заходить к Ходасевичу и ухаживать за ним.

Они прожили шесть лет. За это время у Ходасевича вышла одна книга в Берлине в 1937 г. — «О Пушкине».

В конце января 1939 г. он слег (у него был рак) и понял, что уже не встанет. В конце мая его поместили в госпиталь, потом перевели 13 июня в частную клинику и там сделали операцию. В шесть часов утра 14 июня он умер, не приходя в сознание. Утром 16-го тело было доставлено в русскую католическую церковь на улице Франсуа-Жерар (№ 39), где прошло отпевание. В тот же день он был похоронен на кладбище в Биянкуре, расположенном неподалеку от Парижа.

Остается добавить, что А. М. Горький очень высоко ценил Ходасевича, он писал о нем: «Это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой строгий талант».

Поэтому сегодня закономерно возвращение Ходасевича в нашу литературу.

Мы предлагаем нашим читателям стихи из лучшей книги поэта — «Европейская ночь».

Владимир ПОЛУШИН

СТИХИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО КНИГЕ СОБРАНИЕ СТИХОВ (1913—1939). 1961 г. США.

Владислав ХОДАСЕВИЧ

«ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ»

Петербург

Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил,
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой,
российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкийский
Мне в сногсшибательных ветрах.

И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал.

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

1926.

* * *

Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.

Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом,
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.

Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поёт
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот.

Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый зми́й, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный

Мой человеческий язык,
Его суровую свободу;
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!

1923.

* * *

Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных —
Льдин взгроможденных толчея.

Мне мил — из оловянной тучи
Удар изломанной стрелы.
Люблю певучий и визгучий
Лязг электрической пилы.

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот.

Иль сон, где, некогда единый —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.

1923.

Берлинское

Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом —

Многоочистые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.

И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола, —

И проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

1923.

* * *

Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай,
За черный лес не упадай!

Дай посидеть в румяном блеске,
Прилежным поскрипеть пером.
Живет в его проворном треске
Весь вздох о бытии моем.

Трепещущим, колючим током
С раздвоенного острия
Бежит — и на листе широком
Отображаюсь... нет, не я:

Лишь уголоватая кривая,
Минутный профиль тех высот,
Где, восходя и ниспадая,
Мой дух страдает и живет.

1923.

AN MARIECHEN

Зачем ты за пивною стойкой?
Пристала ли тебе она?
Здесь нужна быть девице бойкой. —
Ты не здорова и бледна.

С какой-то розою огромной
У нецелованных грудей, —
А смертный венчик, самый скромный, —
Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно
Скончаться рано, до греха.
Родители же непременно
Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,
И вправду — честный человек
Перегрузит тяжелой ношей
Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попасться бы тебе злодею
В пустынной роще, вечерком,

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять.
И двух истлений, двух растлений
Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платьице измятом
Одной, в березняке густом,
И нож под левым, лиловатым,
Еще девическим соском.

1923.

* * *

Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска
взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг —
а иной.

1923.

* * *

Нет, не найду сегодня пищи я
Для утешительной мечты:
Одни шарманщики, да нищая,
Да дождь — все с той же высоты.

Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак
На идиотское количество
Серощетинистых собак.

Ти — тычется мордою нечистою
И повернувшись отбежит,
Другая лапою костистою
Скребет обшмыганный гранит.

Те — жмутся, присев на корточки,
Повесив на бок языки, —
А их из самой верхней форточки
Зовут хозяйские свистки.

Все высвистано, просвачено,
Вот так и шлепай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.

1923.

Дачное

Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мутили воды.
Теперь над озером ненастье, мрак.
В траве — лягушачий зеленый квак.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,
А вдалеке, где все затерла мгла,
Тупая граммофонная игла.

Шатается по рытвинам царапин,
И из трубы еще рычит Шаляпин.
На мокрый мир нисходит угомон...
Лишь кое-где, топча сырой газон,

Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами,
А к ним под юбки лезет с фонарем
Полуслепой, широкоротый гном.

1923.

* * *

Встаю расслабленный с постели,
Не с Богом бился я в ночи, —
Но тайно сквозь меня летели
Колюхих радио лучи.

И мнится: где-то в теле живы,
Бегут по жилам до сих пор
Москвы бунтарские призывы
И бирж всесветных разговор.

Не заглушимо и сумбурно
Пересеклись в моей тиши
Ночные голоса Мельбурна
С ночными знаньями души.

И чьи-то имена и цифры
Вонзаются в разбитый мозг,
Врываются в глухие шифры
Разряды океанских гроз.

Хожу — и в ужасе внимаю
Шум, невнимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук! А между тем...

О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены! -

1923.

Перед зеркалом

Nel mezzo del cammin
di nostravita.
di nostra vita.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчищечью вкладывал
прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался
в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами; —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

1924 г.

Л. ЛУКИНА
Е. ЛУКИН.

ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ...

КОНКУРС

Какое впечатление, что этот телефон-автомат неоднократно избивали за что-то каменьями. Трубка была прикована к помятому корпусу крепкой короткой цепью. Как кружка к бачку, машинально отметил Калогер.

Он опустил в черную прорезь две минуты жизни и набрал номер.

— Банк времени слушает, — незамедлительно отозвался любезный женский голос.

Калогер молчал.

— Банк времени слушает, — повторила женщина, не изменив интонации ни на йоту.

Калогер медленно опустил трубку на деформированный рычаг.

— Банк вре... — Голос оборвался, и в недрах автомата что-то негромко звякнуло. Две минуты жизни были потрачены впустую.

Еще пару минут он потратил на бессмысленное стискивание трубки. Потом резко обернулся и обнаружил, что стоит лицом к лицу с ярко и безвкусно одетой женщиной, видимо, ожидавшей конца разговора. Женщина стояла чуть отшатнувшись и смотрела на Калогера, округлив глаза.

— Извините... — пробормотал он, сообразив, что напугал ее своим неожиданным поворотом и перекошенным, надо полагать, лицом.

Он побрел к набережной, и ветер, как прикладом, подталкивал его в спину... Глупо... звонить туда не следовало. Но раз уж позвонил...

Да, раз уж позвонил, то будь добр — доведи дело до конца и выслушай неизменно любезный женский голос, который сообщит, что на банковском счету у вас, господин Калогер, в общей сложности где-то еще два месяца жизни. Или около того...

Два месяца? Он остановился, чувствуя, как неодолимый ужас словно высасывает его изнутри: миг — и хрупкая оболочка — все, что осталось от Калогера, — съежится и косо опадет на асфальт.

— Прекрати! — хрипло сказал он. — Ну!

Не сразу, но прекратилось. Да, вот так, оказывается...

«Успокоился? — с отвращением спросил он себя. — Утрись и следуй дальше...»

Два месяца... Невероятно. Последний раз он интересовался своими капиталами года три назад, сразу после развода, и у него тогда, помнится, оставалось еще лет десять... Нет-нет, в этом надо разобраться... Ну, работал, конечно. Без роздыха, на износ. «Испепеленные», «Нигромант», «Медь звенящая» — что ни книга, то каторга... И все равно: десять лет — за три года? Невероятно...

В этот ветреный день улица являла собой подобие вытяжной трубы. Рядом с Калогером, шурша по асфальту, полз обрывок газеты, испятнанный клюквенным соком. Казалось, в городе идет продувка: все лишнее, все отслужившее свой срок сметалось в сторону набережной.

И еще знакомые, вспомнил он вдруг. Знакомые, незнакомые, полузнакомые... Пожиратели чужого времени... Ладно, Калогер, хватит. Какие, к дьяволу, десять лет! Давай о том, что есть.

Ну, допустим, два месяца. Дней десять сразу же откинь на квартплату. Жрать тоже что-то надо — еще тридцать дней долой... Нет, двадцать. Хватит с тебя двадцати. Итого, месяц. А «Слепые поводыри» — это страниц триста как минимум...

У табачного киоска Калогер задержался и, уплатив полчаса, получил пачку «Жупела» и на десять минут сдачи. Кстати, о куреве. Курево — это еще дня три, не меньше... С чем остаешься, Калогер?

Он добрался до набережной и, расслабленно опустившись на скамью, стал смотреть, как на том берегу подобно расплавленному олову бурлят серебристые тополя.

Подумать только, а ведь есть среди пишущей братии люди, всерьез уверяющие, что зарабатывают времени больше, чем тратят... Врут, собачьи дети! Больше, чем тратишь,

не заработаешь. Как ни крути, а рано или поздно время кончается...

Прикуривая, Калогер обратил внимание, что возле гранитной вазы стоит и смотрит на него та самая женщина, с которой он столкнулся у телефона-автомата. Так... Выпученные глаза, намечающийся зобик — видимо, базедова болезнь, а никакой не испуг, как ему показалось вначале. Вялые, равнодушно сложенные губы, нос — клювом. Одета в супермодный бесформенный балахон, состроченный из цветных клиньев.

«Ну вот и стервятники, — беспомощно подумал он. — Знакомые, незнакомые, полузнакомые... Почуяли. Последний автограф Калогера... Ах, дьявол, сейчас ведь подойдет!»

Не сводя с него глаз, женщина двинулась к скамье — осторожно, словно крадучись. Яркое лоскутное оперение встрепано ветром, все, что может бренчать, бренчит: серьги, браслеты, цепочки. Богема, надо полагать...

— Вы — Калогер?

Голос хрипловатый, вроде прокуренный. Да, скорее всего, богема. Калогер с трудом разомкнул спекшиеся на ветру губы.

— Чем обязан?

— Спасибо вам за «Медь звенящую». — Фраза была несомненно подготовлена заранее, не раз отрепетирована и повторена.

«Господи! — в страхе подумал он. — И эти два месяца они тоже растащат. Они ничего мне не оставят. По часу, по минутке...»

— А где это вы могли прочесть «Медь звенящую»? — скрипуче осведомился Калогер.

— Это неважно, — сказала женщина. — Вы разрешите?

Она присела рядом. Калогер посмотрел на нее с ненавистью.

— «Медь звенящая»!.. — Она говорила, явно волнуясь, и все же речь ее, включая восклицания, звучала предательски заученно. — Это — прочесть и умереть, это... Так осмелятся писать лет через десять!..

Голос ее несколько раз сорвался и, надо заметить, превизгливо.

Еще и истеричка вдобавок. Лет через десять... Дура ты, дура! Да на кой они мне черт, эти твои десять лет? Это моя беда, несчастье мое — набредать на темы, которые будут разрешены лет через десять.

— Я завидую вам, — сказала она. — Господи, как я вам завидую! Понимаете, я тоже пробовала писать, и не раз...

Калогер вздрогнул. Распушив оперение, клювастый стервятник смотрел на него немигающими выпуклыми глазами. Нет, рукописи, слава богу, у нее в руках не было. Хотя под таким балахоном можно спрятать все что угодно...

Женщина поспешно отвела взгляд.

— Я, наверное, проклята, — горестно распустив вялые губы, призналась она ни с того ни с сего. — Время уходит, уходит... И — ничего. Ни-че-го...

Ветер норовил добросить до Калогера ее обесцвеченные космы, обдавая удушающим запахом парфюмерии.

— Вы короче можете? — процедил он, невольно задержав дыхание.

— Короче... — Словно испытывая его терпение, она замолчала, нацелив свой тонкий с горбинкой клюв куда-то вдаль. — Значит, так... Короче... В общем, я намерена перевести на ваш счет два года.

Ветер взвизгнул, обрезавшись об острую жесть фонаря, и оборвался. Секунды три было совсем тихо. Тополя за рекой бурлили теперь как бы сами по себе.

Калогер выпрямился.

— Да вы что, девонька, в своем уме?!

— Ну вот... — беспомощно сказала она. — Я так и знала...

— Что вы знали? — Голос Калогера стал пронзительно резок. — Что вы знали?! За кого же вы меня принимаете, если могли предложить мне...

— Да поймите же! — чуть ли не заламывая руки, умоляюще перебила она. — Я все растрачу. Понимаете? Уже растратила!.. Так почему же я не могу спасти хотя бы эти два года? Ну хорошо, давайте так: я вам — время, а вы...

— А я?

— Ну, я не знаю... Ну... — Она смешалась окончательно. — Книгу надпишете...

— С благодарностью за два года? — бешено щурясь, уточнил он.

— Нет, — поспешно сказала она. — Нет-нет... То есть...

Запуталась и испуганно умолкла, больше похожая теперь на больного воробья, нежели на стервятника. Ветер гнал по набережной пыль и обрывки бумаги.

— О ч-черт! — сказал Калогер. — Да как вам это вообще пришло в голову?

— А!.. — Она раздраженно дернула плечом. — Сначала у меня гуляли, потом у знакомых... А потом вдруг такая тоска!.. Жить не хочется...

— Сколько у вас там еще на счету?

Она с надеждой вскинула голову.

— Много, — сказала она. — Честное слово, много...

— Много... — повторил он и усмехнулся через силу. — Вы и заметить не успеете, как оно разлетится в прах, это ваше «много». И вот когда у вас останется два месяца...

Ее глаза окончательно полезли из орбит.

— У вас осталось два месяца? — в ужасе спросила она, и Калогер мысленно обругал себя последними словами.

— Я сказал: к примеру, — сухо пояснил он. — Так вот, когда у вас останется, к примеру, два месяца... Тогда вы вспомните о своем подарке.

— Нет! — сказала она.

— Вспомните-вспомните, — холодно бросил Калогер. — Можете мне поверить.

Она помотала головой, потом задумалась.

— Нет... — сказала она наконец.— Не вспомню...

— Послушайте! — Калогер вскочил. От его ледяной назидательности не осталось и следа. — Вы или сумасшедшая, или...

Она подалась вперед, тоже собираясь встать, но Калогер отпрянул и, ускоряя шаг, бросился прочь от скамьи. Все это было похоже на бегство.

Собственно, это и было — бегство.

* * *

Что жизнь растрачена дотла, Калогер понял еще утром. Отключился телефон. Первый признак надвигающегося банкротства — когда вокруг тебя один за другим начинают отмирать предметы: телевизор, кондиционер... Все то, что в твоем нынешнем положении — роскошь.

Он запер дверь, наглухо отгородившись от знакомых, незнакомых, полузнакомых, и подошел к столу. После разговора на набережной вопрос со «Слепыми поводырями» решился сам собой: он будет работать. Он будет работать над ними так, словно впереди у него добрая сотня лет, — не торопясь, отшлифовывая абзац за абзацем. Пока не кончится время.

Итак, «Поводыри»... Обширный кабинет. Рабочая роскошь: портьеры, старинные кресла, стол, две стены книг. А вот и наследник этой роскоши, в которую всажено несколько жизней — отца, деда, прадеда... Лидер. Зеленые насмешливые глаза, мягкая просторная куртка. Молод, слегка сутул. Вид имеет язвительно-беззаботный, как будто дело уже в шляпе и беспокоиться не о чем. Хотя все, конечно, не так, и первая его забота — удержать в узде остальных заговорщиков, которые уже сейчас тянут в разные стороны и норовят перегрызться между собой. Вот они все пятеро, — расположились в креслах и ждут шестого, самого ненадежного. Отсюда они начнут мостить благими намерениями дорогу в ад, отсюда бросятся они спасать чужой неведомый мир и в результате погубят его... Сейчас мурлыкнет дверной сигнал, все шевельнутся, и лидер скажет с облегчением: «Ну вот и он... А вы боялись...»

Калогер чувствовал приближение первой фразы. Еще миг — и, перекликнувшись звуками, она возникнет перед ним и...

Вместо дверного сигнала мурлыкнул телефон. Пробормотав ругательство, Калогер сорвал трубку, левой рукой ища шнур с тем, чтобы выдернуть его из гнезда сразу по окончании разговора.

— Да! — рявкнул он.

На том конце провода оробели и дали отбой. Некоторое время Ка-

логер непонимающе смотрел на трубку, из которой шла непрерывная череда тихих торопливых гудков. Потом ударил дрогнувшей рукой по рычажкам и набрал номер.

— Банк времени слушает, — любезно известила его все та же запись.

Калогер поспешно назвал шифр своего счета.

— На вашем счету, господин Калогер, в настоящий момент (еле слышный щелчок) — два года, месяц и двадцать семь дней.

— Сколько? — не поверив, заорал он.

Банк времени любезно проиграл ответ еще раз, и Калогер, едва не промахнувшись, отправил трубку на место.

— Вот паршивка!.. — обессиленно выдохнул он.

То есть она перевела на его имя два года еще до того, как подошла к нему на набережной.

И вдруг Калогер почувствовал, как в нем вскипает бесстыдная, безудержная радость. Два года... На «Слепых поводырей» ему хватило бы и одного...

— Прекрати! — хрипло сказал он. — Ну!

Точь-в-точь как тогда, у изувеченного телефона-автомата.

* * *

Голое небо за окном понемногу одевалось. Наладившийся с утра ветер принес откуда-то несколько серых клочьев и даже сумел построить из них некое подобие облачности.

Калогер отнял лоб от тусклого, давно не мытого стекла.

— Ладно, хватит! — скривив рот, выговорил он. — Примирился? Давай работать...

Злой, как черт, он вернулся к столу. Сел. Положил перед собой чистый лист.

Итак, «Поводыри»... Что-то ведь там уже наклевывалось... Калогер пододвинул лист поближе и, подумав, набросал вариант первой фразы. Написав, аккуратно зачеркнул и задумался снова.

И все-таки — зачем ей это было надо? Жажда яркого поступка? Чтобы смотреть потом на всех свысока? Два года... Это ведь не шутка — два года...

Нет, так нельзя, сказал он себе и попробовал восстановить картину. Кабинет... Портьеры, кресла... Зеленые насмешливые глаза лидера. Сейчас мурлыкнет дверной сигнал и лидер скажет...

Строка за строкой ложились на бумагу и аккуратно потом зачеркивались. Квартира оживала: в лицо веял бесконечный прохладный выдох кондиционера, в кухне бормотал холодильник... Исчеркав лист до конца, Калогер перевернул его и долгое время сидел неподвижно.

Потом опять мурлыкнул телефон, и он снял трубку.

— Да?

В трубке молчали.

— Да! Я слушаю.

— Как работается? — осведомился знакомый хрипловатый голос.

— Никак. Зачем вы это сделали?

— Захотела — и сделала, — с глуповатым смешком отозвалась она. Кажется, была под хмельком. — Книгу надписать не забудете...

— Не забуду, — обнадежил он.— А кому?

— Ну... Напишите: женщине с набережной... — И, помолчав, спросила то ли сочувственно, то ли виновато: — Что?.. В самом деле никак?

— В самом деле...

— Ну вот... — безнадежно сказала она. — Этого я и боялась... Видно, мое время вообще ни на что не годится — разве на кабаки. — Вздохнула прерывисто — и вдруг, решившись: — Знаете что? А промотайте вы их, эти два года!

— То есть?

— Ну, развлекитесь, я не знаю... В ресторан сходите... На что потратите — на то потратите...

— Послушайте, — в бешенстве начал Калогер, но она только проговорила торопливо: «Все-все, меня уже нет...» — и повесила трубку.

Калогер медленно скомкал в кулаке исчерканный лист и швырнул его на пол. Встал, закурил. Чужое время...

— Да пропади оно все пропадом! — громко сказал он вдруг.

Бесстыдно усмехаясь, ткнул сигаретой в пепельницу, затем вышел в переднюю и сорвал с гвоздя плащ. В кабак, говоришь... А почему бы и нет? Он уже нагнулся за туфлями, когда, перекликнувшись звуками, перед ним снова возникло начало «Поводырей».

Чуть ли не на цыпочках он вернулся к столу, повесил плащ на спинку стула, сел. И слово за словом первый абзац повести лег на бумагу. И «Поводыри» ожили, зазвучали.

Он работал до поздней ночи. И никто не мешал ему, и никто не звонил. И он даже ни разу не задумался, а что же означала эта ее странная последняя фраза: «Все-все, меня уже нет...»

г. Волгоград.

Письма в ЖЭК, или „НЕ РАСПЛАКАТЬСЯ — ИСКУССТВО..."

ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

Литература не осталась в стороне от перемен, происходящих в нашем обществе. Об этом шел разговор в предыдущем обзоре поэтической почты («Горизонт», № 5). Но всегда ли такое активное вмешательство в мир реальный на пользу литературе? Критики утверждают — литература от этого страдает. И предсказывают: как только в стране станет нормой настоящая политическая жизнь, в поэзии и прозе, и даже в публицистике политики поубавится. Ибо отечественная словесность по традиции берет на себя весь груз нереализованного, невоплощенного в действительности. И герои ее задаются ныне не только вечными вопросами, а того и гляди, начнут решать проблемы мыла и стирального порошка... Что поделать, бытие как-никак определяет сознание, не исключая и литературное!

Ну, а если говорить серьезно, литература в целом, а не только журналистика или публицистика, сейчас бурно осваивает целинные и залежные темы, белые и черные пятна, еще недавно закрытые. Назову лишь читаемые всеми повести Каледина, Полякова, Кунина. Останутся ли в литературе все эти смиренные кладбища, интердевочки, ЧП районного масштаба? Это покажет время. Но пока оно еще не вынесло своего окончательного приговора, идет экстенсивное освоение недавнего и далекого прошлого, а также его продолжения в настоящем. И если при этом выигрывает сиюминутное, то страдает вечное.

Самодеятельная поэзия также не ушла от соблазнов политизированного и социологизированного мышления. И тоже в ущерб. И глубине, и литературным достоинствам написанного. «Поэтом можешь ты не быть...» Да, все мы сегодня обнаружили в себе некрасовского гражданина, но всегда ли находим рядом — поэта? Свой манифест — иначе его не назовешь! — «Не допустить новой мировой войны» учитель из Донецка **А. ЛЕВИН** написал в форме открытого урока:

— Запомните, ребята, последняя война.

Пятьдесят миллионов жизней унесла.

— А сколько нас, людей, за все время убито? — и т. д., и т. п.. вплоть до морали:

Задача ваша — стать настоящими людьми.

И не допустить новой мировой войны.

Эти силлабические, как в XVIII веке, вирши даже и не притворяются настоящими стихами.

Ветеран Великой Отечественной, журналист из Бельц **Н. СОЛОДЯНКИН** пишет:

Память моя, я недоволен тобою...
...Я желаю покоя теперь и не надо
Будоражить испытанным душу
мою...

И все же вновь и вновь обращается к «грозному времени». А вот молодой человек, учитель из Флорештского района **Н. ПАХОМОВ** мучается той же «Памятью»: **«Успокоиться — значит забыть / И порвать сопричастности нить, / Что связала с народом меня / До последнего дня».** Чувства и намерения авторов самые благие, однако спросим — А СТИХИ ЛИ ЭТО? Советская литература создала свою летопись Великой Отечественной войны — великого испытания, огромного горя, священного гнева, патриотического подъема. Внести свою лепту можно, лишь сказав что-либо новое, увидев события под новым углом, передавая накал чувств с такой силой, чтобы читающий проникся сознанием и своей причастности. Здесь же — вялая декларативность, расхожие образы и сюжеты, набор общих слов.

Инженер-механик из Кишинева **А. ФИРСТОВ** сопроводил своих «Восточных славян» детальнейшими пояснениями, из которых можно узнать немало поучительного. Но вот образец поясняемых строк (сохраняю орфографию и пунктуацию оригинала):

Мама грозного Ивана
Из ветви Мамая хана
А по отцу наш царь Иван
Италианец, грек, славян,
Чех, татарин и литовец,
Половец и финн-угорец
И другая кровь была
В звере русского двора,
Но варяжской в нем крови
Лишь следы иль капли три.
А последний государь
Из варягов, Федор царь
Был не только кровный сброд
Но и полный идиот.

Но вот автор переходит к новейшей истории:

Но вдруг фортуна изменилась
Революция случилась
И мы Европу и весь свет
За полсотни лет догнали
И во многом перегнали
И теперь земной народ
Сверх-державой Русь зовет...

Комментарии тут, как говорится, излишни. Нехватку популярной исторической литературы подобной антиисторией не возместишь. Так зачем же такое написано?

Довольно распространенная слабость наших авторов — посвящение своих сочинений кому-либо из великих или известных литераторов. **В. ОСТРОВСКИЙ** из Риги свое стихотворение «Дороги» посвятил В. С. Высоцкому. Как известно, сам Высоцкий был против того, чтобы его идентифицировали с персонажами его песен и фильмов: не воевал Владимир Семенович, не сидел, не был альпинистом...

В. АЛАДЫШКИН из Львова посвященное И. Бродскому, М. Шемякину и другим стихотворение назвал «Советским Маугли»(!). По поводу этой слабости наших авторов можно сказать лишь одно: наивно стремиться посредством своих собственных текстов, посвященных кому бы то ни было, приобщаться к сонму великих или прославленных. Славы им это не добавит, равно как не добавит литературных достоинств сочинениям посвященным. Уже упомянутый В. Аладышкин, человек трудной судьбы, явно тяготеет к социальной проблематике.

Как живется рабочему брату?
На зарплату, мужик, на зарплату.
В магазинах кусаются цены
И не видно пока перемены.

О, скажете вы, под этими строчками подписался бы каждый, притом двумя руками! Как под социальными требованиями — да, согласна. Но не как под стихами.

Так, может быть, оставить ТЕМУ на откуп журналистике и публицистике? Ведь в поэзии совершенно не важно — О ЧЕМ, главное — КАК. Но забываем, забываем об этом, захлебываясь, торопясь высказаться обо всем, что наболело — пока включен «открытый микрофон», пока не заткнули рот...

А мы аплодисменты...
...Мы нематериальны,
Нас в мире вроде нет.
Но нас вы ощутите,
Когда соврет политик
Или когда обрушит
Всю истину поэт...

(В. РАССОХИН из Рыбницы).

Тут, как мы понимаем, не до поэтических красот, тут прет голая, ничем не прикрытая жизнь а порой и антиэстетика. Как и в стихах музыканта **В. ГЛАДЫШЕВА** из Кишинева:

Этот крик знакомый, как
разруха...
— Кто так разорался,.. твою мать?
— Эй, гляди, повесилась старуха,
Видно, лишку выпила опять...
Эй, рванье! а может, бабку
сымем?
— Будет тебе в дело нос совать!
На, держи, давай-ка с нами
выпьем!
— Мужики... она ведь чья-то
мать...

Все раны, все боли нашей обыденной жизни проступают сквозь строки самодеятельных стихотворцев. Показательно в этом отношении то, как ныне пишут женщины. Героиня их стихов — это уже не Прекрасная Дама, не пленительное нежное существо, и даже не сильный и мужественный товарищ мужчина.

От работы к работе — загружена.
Руку стыдно подать —
натружена.
Тащит в дом тяжеленные сумки,
Взгляд затравленный у нее —
сутки.

И даже лирическая яблоня у этого же автора, **Л. БАКЛАНОВОЙ** из Кишинева, вовсе уже не дерево: «Колючей проволокой / потянулась яблонька, / на ней остались / три сморщенных яблока. / Как три забытые / девы старые, / гнилью покрытые, / от жизни усталые». Как бы вторит ей студентка КГУ **М. ДОВГАЛЬ:** «Больной ребенок, / больной щенок, / больное общество без ног. / ...Больной— / живущий в дыму наркотиков, / больной — / жующий жвачку будней, / больной наш мир, / голодный и жалкий, / как брошенная / глухим человеком овчарка».

Это, конечно, не стихи. В том, необидном для поэтесс, смысле, что еще не стихи, не стали еще стихами. Человеческое не воплотилось в литературу. «Без перевода» — как назвала свое стихотворение **Н. АНЦУПОВА** из Кишинева. Без перевода — голоса сердца на язык поэзии. Сами авторы такие стихи искренне считают лирикой. Но раскройте избранные страницы мировой и отечественной лирики — и вы убедитесь, что для того, чтобы перевести чувство в слово, требуется высокое мастерство, духовное богатство и природный лирический дар. А если писать, как бог на душу положит, получится следующее:

Вот промелькнули недели,
Сыну дано родиться —
Красный кусочек тела,
Как без меня он там?
Злу я не дам совершиться
В жизни его и деле,
Стану я дикой тигрицей,
В жертву я жизнь отдам.

Или, как пишет семнадцатилетняя **В. БРАТАНОВА** из Сорок:

Не буду я жестока, как вы,
В душе мне жаль вас и прощаю,
Вы успокойтесь и не плачьте,
Не то сама я зарыдаю...

Подобные примеры, на мой взгляд, вполне определенно говорят, насколько безразлично поэзии, О ЧЕМ написано. О мировой войне или о юном разочаровании — если так плохо, все равно это не стихи. Чаще всего авторы и не претендуют на литературное признание. Для большинства пишущих это — попытка и возможность высказаться, выразить себя, облегчить душу.

Когда мне очень плохо,
в утешенье
Пишу стихи: строфа, строка...
И предстаю пред вдохновеньем,
А почему, не думаю пока...

На протяжении нескольких лет подряд мне приходилось делать обзоры поэтической почты для газеты «Молодежь Молдавии». Это были годы бурного, так сказать, застоя. И боже мой, сколько восклицательных знаков, бравурных интонаций, всеобщего одобрения и чувства глубокого удовлетворения находила я тогда в письмах самодеятельных стихотворцев! Поменялось время — и на смену парадно-жизнерадостным «паровозам» пришли стихи, от которых, как на подбор, веет благородным негодованием, безысходностью или протестом против негативных явлений нашей бытовой и общественно-политической жизни. Разумеется, изменилось самосознание советского человека, его отношение к окружающей действительности. И все же порой не оставляет сомнение: а не движут ли авторами самые заурядные конъюнктурные соображения? Дескать, а вдруг да проскочит в печать то, что я сочинил, если выдержать все в том духе, какой ныне в чести? В морской терминологии есть такая команда: «поворот все вдруг». Так и в нашей жизни — прозвучала команда, и мы привычно делаем поворот все вдруг. Вторая сторона этой же медали: самодеятельные поэты, отдавая дань той или иной модной теме, и не пытаются решить ее иначе, нежели это делает сейчас журналистика, публицистика. Нет, дело не в том, чтобы написать острее, лучше — у поэзии просто-напросто качественно иные способы осмысления и переработки сырого жизненного материала. Она, по пушкинской формуле, мыслит и страдает, а не отражает и называет.

В ином случае кажется: может быть, лучше бы не стихи написали, а жалобу в жэк, или заметку в газету, или письмо близкому другу... Поверьте, это я безо всякой иронии. Почему-то считается, что заметку труднее написать, чем стихи... Почему-то ходит упорный застарелый слух, будто так любимый самодеятельными авторами Есенин был «самородком», т. е. книг не читал и писал по наитию. (К слову, редкая поэтическая почта обходится без подражательных, «под Есенина», стихов). Всем известны черновые рукописи Пушкина, но в обиходе почему-то считается, что он дописывал стишки так, между делом, между балами, дуэлями и победами над слабым полом...

«Здравствуй, дорогая редакция! Извините за беспокойство. Мне хочется узнать конкретный от-

Марина РОВНЕР

Взросление

Цепенея от боли — женой
благоверного Лота,
Оторвав и уже, и еще бесполезное
детство.
На секунду замру, очертив себя
рамкой пролета,
За которым мой бег превращается —
в бегство.

Погодите — я может, еще
не нападалась вдосталь!
Позади улыбнутся коленки,
разбитые звездно...
Но на плечи мне — взрослую
гордость, совсем не по росту,
И заплакать — смешно, и смеяться,
наверное — поздно.

Я и врать научусь — дети на
подражательство падки,
Но потянется кто-то к ладоням —
напиться,
А увидит взведенные строго
лопатки,
Как курки, или крылья замученной
птицы.

* * *

Аэродрома низкий звук,
Табло мерцают образами.
Печальных губ татарский лук
Дрожит, натянутый слезами.

А в разговоре, в глубине,
Там, между голосом и чувством,
Одна тоска поет во мне,
И не расплакаться — искусство...

Уже!.. И никогда — вдвоем!..
Здесь, в тесной сутолоке зала,
Все настоящее мое
Прошедшим и бескрылым стало...

* * *

Проглочен сердца стонущий
толчок,
И рейс объявлен непривычно-сразу.
Сползла улыбка на воротничок,
Легко порвав запутанную фразу.

Ну, что ты тянешь! Ты же сам
сказал:
«Ребенок. Вечно девочка...»
Не так ли!
Шагни — так покидают тесный зал,
Устав от надоевшего спектакля.

Не оборачивайся! Сквозь мои черты,
Стерев тональный крем
цивилизации,
Рванется женщина, которую ни ты,
Ни сотни лет не выучат прощаться...

вет на волнующийся мой вопрос. Я пишу стихи, что мне делать, как их можно опубликовать в журнал, чтоб не только я могла их прочитать тысячу раз, а кто-то другой, может и других людей они заинтересуют. Их ведь не напишут в «Сельскую новь», да еще о любви. Хотя б строчки две написали в письме мне. А так ждать и правду не знать, нет больше сил и терпенья. И еще меня интересует, как можно стать поэтом. Это мое любимое занятие, сочинять, а только для себя писать не очень-то и интересно. Это ведь все из моей юной жизни, все, что написано, я прожила. А без стихов я не умею существовать...»

Что, ну что ответить девятнадцатилетней **Валентине РЫЖЕНКО** из Слободзейского района? Девушка второй раз обращается в редакцию с аналогичным вопросом. Однажды она уже получила ответ (в журнале): высылайте стихи, и вам ответят. Но стихи не присылает и на сей раз. Чего она просит, каких-то гарантий? Но что можно сказать, не прочитав стихи? По письму видно, что автор не очень-то в ладах с языком. А ведь литератор — профессиональный или любитель, как вы, — обязан в совершенстве, виртуозно владеть словом, которое и материал для него, и средство, и инструмент. Поэзия, к тому же, требует постоянной и глубокой духовной работы, самовоспитания, нравственных исканий. Нужно много читать, впитывать и перерабатывать прочитанное. При этом никто не даст вам гарантий, что в одно прекрасное утро вы сможете проснуться поэтом. Ведь только от природы зависит, отпущены ли вам талант, одаренность, литературные способности. Существует еще и такое понятие, как поэтическая судьба. И тем не менее в любом случае ваши усилия не пропадут даром, как всякие усилия. Вы можете стать замечательным читателем, ценителем литературы, а это, поверьте, немало. Наконец, вы можете научиться литературному труду и стать журналистом, издательским работником, редактором, корректором... Главное, если у вас есть такая потребность, — учиться. И не обязательно в Литературном институте — это тоже не всегда залог поэтического будущего. У каждого пишущего есть прекрасный учитель — замечательная литература всех времен и народов, отечественная классика и богатая, разнообразная современная поэзия. Остается лишь пожелать вам упорства в достижении цели.

Есть несколько писем, которые порадовали удачными строчками. **В. СЛУЦКИЙ** из Кишинева тяготеет к жанру баллады, и встречаются у него удачи, как, например, пронзительная «После войны». Но мне больше всего запомнились две скромные строчки из другого, не столь удачного стихотворения: **«Как желто пахнут стога, / Как мерно шумят луга»**. Здесь такая точность ощущения,

• • •

Ну, что ж, единожды сфальшивив,
Вновь ноту верную не взять.
И веер слов, пустых и лживых,
Развел нас в стороны опять.

Надежды крохотное жальце —
Сломать присохшую печать!
И письма, краешками пальцев
Прочтенные, начнут звучать!

Слепая искренность ладоней,
Но снова — в сторону глаза.
И в мире нет людей бездомней,
Вновь обернувшихся назад.

• • •

Сквозь осень, как сквозь сон — наискосок,
Под тонкий звон деревьев медно сбруй.
Пусть с пальцев мне орехов спелый сок
Сотрут сухие листопада струи.

И воздух будет горек и упруг,
Прозрачны дней разыгранные темы,
И запотеет от дыханья рук
Скрипящий влажно шарик хризантемы...

которая, может быть, и есть сама поэзия. Горькое стихотворение **Н. КАЧЕСОВА** из Кишинева «Итог» начинается с вполне банальных вещей: **«Потемнеет в глазах / И опустится занавес жизни, / Станет все ни к чему, я замкну одиночества круг...»** Но вдруг как кольнет строка **«Завернусь потеплее в пустую одежду одежды»**, в которой, при внешней парадоксальности, острее чувство одиночества и неизбежности человеческой смерти, чем если называть их по имени. В стихотворении этого же автора «Верю» встречаются «неперевареные» поэтические заимствования: **«Опавший лист уж не зазеленеет, / Ушедший вдаль уж не вернется вновь»**. Сравним есенинское: «Кто сгорел — того не подожжешь». Или: **«Еще горят в саду рябины стройной гроздья, / Но к югу стаи начало сносить»** (У Есенина: «В саду горит костер рябины красной...» Лучше, конечно, чем перелицовка!)

Впрочем, от подражаний и прямых заимствований никто не застрахован, особенно в период ученичества. Ничего в этом зазорного нет, это обычная болезнь роста. Важно только вовремя выйти из-под чужого влияния или влияний, вернуться к себе, обрести собственный голос.

У семнадцатилетней **Марины РОВНЕР** можно встретить отголоски Пастернака, Цветаевой, Ахматовой. Встречаются, хотя и редко, у нее неточные, претенциозные сравнения: «Табло мерцает образами». Но в целом стихи чудесные, свежие, молодые, не выдуманные, не натужные. Их хочется цитировать и цитировать. А, впрочем, прочтите их целиком. Кстати сказать, и строка, вынесенная в заголовок, также принадлежит Марине. И означает она в нашем случае вот что: из всех испытаний и страданий помогают нам выйти очищенными и обновленными поэзия, литература, искусство — все то, что, безусловно, принадлежит к нетленным общечеловеческим ценностям.

А. ЮНКО,
член Союза писателей СССР.

ГЕНЕЗИС

«...ЕСТЬ ПОЭТЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ МОЛОДЫМИ В СТАРОСТИ» — это наблюдение Марины Цветаевой возникло в моей памяти перед полотнами молдавского живописца Михаила Греку на персональной выставке, открытой в начале этого года в Москве. Мне посчастливилось видеть почти все прежние экспозиции его работ, начиная с первой крупной (1958 год), и наблюдать, как меняются задачи, характер образного мышления, как раскрываются новые грани дарования мастера. И удивляться, радоваться тому, что при всей неожиданности перемен развитие художника не утрачивает органичности. В чем его секрет? Вероятно, в искренности переживаний, в глубинной связи с родной землей, с народом. Итог его творчества — мудрая широта поэтических обобщений.

Да, при всей динамике развития Михаил Греку остается самим собой — это поневоле признавали и ревностные критики из руководства Союза художников Молдавии, которые упрекали мастера в «формализме» в самые разные периоды его творчества. Они находили этот грех и в экспрессивной манере письма 50-х годов, и в полнозвучных цветовых аккордах начала 60-х, и в фактурных эффектах последующих лет. Годы, десятилетия вульгарного разделения взаимосвязанных эстетических категорий — «содержание» и «форма», упрощенное понимание содержания как социальной темы, нужной идеи, а «формы» — как наглядной иллюстрации идей.

Михаил Греку неустанно протестует против догматизма в искусстве и всем своим творчеством, и публичными выступлениями на обсуждениях выставок, в периодической печати защищает путь поиска, поддерживает талантливую молодежь. Он не отрешается от запросов общества, так как убежден: можно найти нешаблонные способы выполнения социального заказа, не изменяя своему мироощущению. В большинстве случаев это ему удается. Произведения «Осенний

день» (1964), «Проводы» (1964-65), «История одной жизни» (триптих, 1967) принесли художнику всесоюзную известность, с этим вынуждены были посчитаться и местные власти, спустя годы присудившие мастеру звания заслуженного деятеля искусств МССР (1972), лауреата Государственной премии Молдавской ССР и, совсем недавно, к семидесятилетнему юбилею — народного художника МССР (1986).

Михаил Греку может считать себя счастливым художником независимо от официального признания, потому что его полотна находят путь к сердцам многих любителей искусства. И не только тематические картины, но и разнообразные пейзажи — от сельских домиков родного края до космических пространств, натюрморты с цветами, с засохшими фруктами, портреты современников, исторические портреты... Когда в Кишиневе проходили обсуждения персональных выставок Греку, собиралось столько посетителей, сколько не собирало ни одно подобное мероприятие — тесно было стоящим. И нередко непрофессиональные зрители высказывались проникновенно, глубоко, опровергая необоснованные претензии к художнику со стороны борцов за социалистический реализм с четкими «берегами».

Выставку в Москве увидели и, судя по книге отзывов, сумели оценить многие жители столицы и других городов страны. Вот некоторые высказывания:

«...прикосновение к тайне, величию, трагедии земли, мира... Прикосновение неожиданное, страстное, волнующее — глубокое. Спасибо, это так нечасто бывает». (Азаренко, Смоленск).

«Забежала на выставку на минутку и не могла уйти! Ощутила такую приподнятость над обыденным, такой мощный эмоциональный заряд! Горжусь таким современником!» (П. Флид, преподаватель).

«...Я думаю, что на Вашей выставке могут быть люди, не понимающие Ваших картин, но вряд ли будут равнодушные, а это очень важно»... (Алексей, студент).

Зрители воспринимают искусство Греку полнокровным, вдохновенным, нравственным. Профессионалы отмечают, что мастерство живописца на уровне мировой культуры и неотделимо от национальной почвы.

Какие же истоки питают творчество Михаила Греку? Их немало: это — непосредственные впечатления от действительности, воспоминания детства, юности; это — освоение традиций, не только профессионального, но и народного искусства; это — уроки человеческой доброты и щедрости, полученные в жизни от первых учителей.

Дарование художника не могло бы развиться без той поддержки, которую ему оказали сначала директор сельской школы с. Ташлык, затем учитель рисования и директор педагогического училища в Четатя Албэ, ныне г. Белгород-Днестровск. Благодаря им крестьянский мальчик, не имевший средств на жизнь, проводил каникулы в школе живописи в Бая-Маре и на творческой базе в Балчике, экспонировал свои работы, а в 1937 году поступил в Академию художеств в Бухаресте. Там он пользовался советами известного живописца Александру Чукуренку, и похвала мастера помогала выдерживать материальные трудности, вселяла уверенность.

Когда в 1940 году Бессарабия присоединилась к Стране Советов Михаил Греку оказался среди своих земляков, покинувших Румынию. Мечтал продолжить учебу в Москве, а сначала поступил на третий курс Кишиневского художественного училища. В годы войны работал кочегаром паровозного депо на Урале, в свободные часы изображал простые мотивы быта: жену, ребенка, домашнюю утварь. В эти суровые годы язык живописи Греку стал сдержанным в цвете, но усилились контрасты света и тени.

В послевоенные годы, возвратившись в Кишинев, Михаил Греку ездит по селам Молдавии, пишет пейзажи, портреты, участвует в выставках, становится членом Союза художников. К середине 50-х годов живописец достиг творческой зрелости. В его полотнах «Девушка с цветком», «Молдаванка в мараме», «Портрет колхозника», «Женщина в желтой повязке» раскрыты типические черты народного характера. Образы подкупают естественной непринужденностью, теплотой подлинной человечности. Ничего ложного, показного художник не приемлет. Его исторические картины — «Татарбунарское восстание», «В застенках сигуранцы» отличаются экспрессивностью средств, отказом от типичной для тех лет подробной повествовательности, на которую ориентировали критики. Греку усиливает напряженность, драматизм событий сложной ритмикой построения, контрастами освещенных и затененных частей композиции.

Для дальнейшего творческого развития художника важным событием стали поездки в конце 50-х годов в Ясскую галерею, затем в Ленинградский Эрмитаж. Он убедился, что прежний метод работы достаточно освоен и не дает выхода на иной уровень мышления, более созвучный современности. Стал внимательнее изучать достижения французских импрессионистов и постимпрессионистов и особенно — Анри Матисса. Греку обратился к одному из источников живописи Матисса — древнерусской иконописи. Не менее богатый источник он вскоре открыл для себя в молдавском народном искусстве.

Поворот в творчестве художника был подготовлен общей атмосферой «потепления», духовного раскрепощения и подъема, которая создалась после XX съезда КПСС. Оптимистическое мироощущение влекло к иной образности, и вот на 45-м году жизни сложившийся мастер изменил художественную концепцию. После темных, сдержанных в цвете работ появились полотна, напоенные светом, удивляющие богатством колорита — полотна жизнеутверждающие, но сначала шокирующие. Картина «Чадыр-лунгские девушки» (1960), совершенно не похожие на то, что было создано до этого в молдавской живописи, вызвала бурю споров, были случаи, когда картину снимали с экспозиции. Но Греку не остался одиноким в своих исканиях, так как его стремление сделать художественную форму эмоционально открытой, содержательной было закономерно и созвучно времени.

Особая заслуга Михаила Греку заключается в том, что он первым из молдавских художников обратился к традициям народного искусства, причем не вступая на легкий путь стилизации. Он постигал суть образного мышления, эстетические принципы и, отталкиваясь от них, развивал, по-своему переосмысливал традиции. Его привлекали такие присущие народным мастерам качества, как непосредственность чувств и широта обобщений, метафорическое значение цвета и чувство гармонии, а главное — проникновение в структурные свойства и выразительные возможности материала, из которого создается произведение — будь это настенная роспись, ковер, керамический сосуд, ворота или иная вещь, сделанная для быта и для души.

С каждым цветом в народе и по сей день связаны определенные представления: белый наряд невесты — символ чистоты, целомудрия, красный — цвет солнца, жизни, плодородия, любви, черный воплощает тайну, скорбь. Подобный принцип в картинах Греку в зависимости от замысла ведет к многозначному ассоциативному восприятию и раскрытию идей.

Сложная живописная симфония создана в триптихе «История одной жизни» (1967). Особенно впечатляет первая часть — «Детство», где трагическому звучанию черного цвета (земля и быки, занимающие почти весь формат картины) противопоставлена нежность светлых, голубоватых, розовых, золотистых тонов (фигурка мальчика, головы, ноги животных). Так условный язык помогает раскрыть драму и поэзию далекого детства.

В этих картинах Греку сюжет не развернут, в мотиве зафиксировано не преходящее мгновение, а замедленно длящееся состояние. Герои пребывают в своем, отдаленном от нас времени-пространстве, и вместе с тем кажется, что они с открытой душой стоят перед временем будущим. Это впечатление духовного предстояния, вызывающее аналогию с христианской монументальной живописью, не запрограммировано автором, а явилось результатом способа художественного обобщения и стремления к символической широте образного содержания. Избранный им ковровый принцип построения композиции и одухотворенная декоративность живописи типичны и для многих памятников средневекового искусства, в частности, для молдавских фресок.

Композиция «Гостеприимство» (1965-67) выдержана в едином ключе серебристо-белого цвета, тончайшие соотношения теплых и холодных его оттенков создают эффект излучения ласкающего света, донося до зрителя душевную щедрость радушных людей. Отдельные элементы композиции (части фигур, одежды), написаны более плотно, контрастно в цвете, расположены симметрично, вплетены в картину подобно узору. Четкая ритмика построения способствует монументализации и переводит жанрово-лирический образный строй в эпический, как это бывает в народных балладах. При этом персонаж не превращается в схему, напротив — еще более выделяется сконцентрированное духовно-нравственное начало в трогательно доверчивых лицах и мягкой обобщенной пластике фигур. Художник как бы обнажил душу народа, его чистосердечность, нежность, доброту.

70-е — начало 80-х годов — время, которое сейчас называют «застойным», не благоприятствовало творческому поиску в искусстве. Художники были поставлены в материальную зависимость от чиновников из Министерства культуры, тех, кто планировал почти сплошь тематические выставки, навязывал ложно актуальные идеи для заключения целевых договоров к этим выставкам, поощрял произведения отнюдь не за подлинно художественные качества, а за агитационно-иллюстративную конъюнктуру. Михаил Греку и ряд других талантливых молдавских живописцев остаются и в этих условиях верными своему мироощущению, не изменяют сложившимся принципам и продолжают развиваться творчески.

Находилось немало критиков, которые на обсуждениях и в печати упрекали мастера в том, что из его поля зрения «отступает на второй план образ человека, героя описываемых событий»*. Они подходили к оценке его произведений с устаревшими мерками, применяемыми к традиционной сюжетной картине, так как не могли или не хотели понять, сколь далека художественная концепция Греку от описательного способа раскрытия темы. В большинстве его новых картин проводником глубоко человеческих чувств и гуманных идей является предметный мир. Живописец ограничивается отбором двух-трех объектов, но их сопоставление и эстетическое преобразование способно вызвать сложные ассоциации. В картине «Хлеб и солнце» (1977) пышный каравай на столе и небесное светило приближены друг к другу, спорят своей красотой и сиянием. Драгоценность колорита, отливающего золотистыми тонами, способствует раскрытию смысла картины: это — гимн труженикам, отдавшим хлебу теплоту своих рук и сердец. На другом полотне вознесена в небо рубаха солдата, простреленная, словно одеревеневшая, с трагически изломанными складками, а

* Д. Гольцов. Состоялось ли художественное открытие?.. «Советская Молдавия», 1977 г. № 66 от 20 марта, с. 4.

возле нее — нежные гвоздики. Картина, названная «В память» (1975), действительно воспринимается как памятник-монумент погибшему герою.

В работах Михаила Греку двух последних десятилетий важным средством образной выразительности наряду с цветом является фактура. В композиции «Поминальный стол» (1976) по контрасту с каменным кладбищенским столом, написанным рельефно, словно вылепленным, белое полотенце и намеченные легким контуром каравай, графин и фрукты кажутся нематериальными, бесплотными и воспринимаются как символ памяти тех, кого уже нет среди живущих... По-иному содержательна фактурная разработка в пейзаже «Луна над старым Орхеем» (1975), где каменистая земля, маленькая колокольня вдали и нависшая над ней луна, выделенные рельефом красочного слоя, кажутся созданными из единой материи. Мотив природы сам по себе архаичен, однако идея единства материи земной и лунной придает произведению емкий философский смысл, вызывает раздумья о вечности, о прошлой и будущей жизни на земле. Художник объясняет:

— По мере того, как человек познает мир, его эстетические представления меняются. С тех пор, как на луне появился вымпел СССР, она стала для меня совсем другой, совершенно не похожей ни на луну Эминеску, ни на луну Куинджи. Человек ощущает себя сегодня не только частицей родной природы — он причастен к мировым пространствам. И перед художником стоит проблема очеловечивания космического пейзажа.

Молдавский живописец стал участником международного симпозиума на тему «Космос». В его полотнах «Становление», «Космическое», «Генезис», «Жизнь на другой планете» (1975-77) силой художественного воображения представлены процессы мироздания. Для этого Греку использует современные красящие материалы (эмали, нитролаки, аэрозоли), извлекая из их свойств особые эффекты, передающие динамический характер явления. И это не только жизнь космоса, но и пульсация родника, воссозданная нерукотворно образованными на лаковой пленке складками, подобными расходящимся на воде кругам («Родник»), и брожение молодого вина, угаданное в мерцающих сгустках битумного лака («Вино бродит»). Метод исполнения таких работ имеет импровизационный характер «игры» с красящими материалами, и в ней нередки моменты непредвиденного. Однако случайно возникающие эффекты художник умело обыгрывает с расчетом на создание того или иного образа. Например, алюминиевый порошок и черный битумный лак при разных технических приемах по-иному взаимодействуют и чудодейственно превращаются — то в сверкающих влажной чешуей рыб («Серебристые рыбы»), то в брызги дождя на полиэтиленовой пленке («Парники осенью»), то в неожиданно ставший драгоценным чугун («Вагонетка металла»), то в свет далекого неба, отраженный в темной воде («Глубина колодца»).

Итак, через эстетические свойства современных красителей художник познает такие аспекты жизненной реальности, которые прежде оставались вне поля его интересов. Но он не порывает с традиционными жанровыми мотивами, развивает способы поэтического обогащения бытовых сюжетов. Произведения «Ужин в поле» (1970-71), «Очаг в Буджаке» (1981), «Ритуал проводов призывников села Вэлень» (1985) и другие утратили волевую, монументально-декоративного характера упорядоченность, присущую картинам второй половины 60-х годов, их лиризм более интимного свойства. Однако по-прежнему не развернуто сюжетное действие, скуп отбор элементов композиции, лаконичны изобразительные приемы. «Музыка» цвета не форсируется, звучит сдержанно, но чисто, проникновенно, одухотворенно. Так рождается образный строй, возвышенный над сиюминутным событием, словно протяженный во времени и потому монументально-значительный по своей сути.

Не прерывается связь Михаила Греку с народным искусством, она осуществляется на новом уровне. Например, художник раскрывает смысл знаков, изображенных на крестьянских воротах, и создает на рубеже 70—80-х годов картины, увековечивающие не просто материальный объект, а духовный порыв, побудивший народного мастера выбрать именно этот знак. Греку подчиняет цветовую, фактурную и пространственную разработку композиции созданию особой духовной атмосферы, выражающей стремление — к музыке («Ворота лир»), к любви («Ворота сердец»), к мирной жизни («Врата мира»). Художник идет дальше, к собственному мифотворчеству: «Врата скорби», «Зрячие врата» смотрят как живые существа, а «Врата предков» опираются не на обычные столбы: на их месте рельефом намечены фигуры мужчины и женщины — «столпов рода», по определению автора. Створки ворот со знаками солнца и луны едва выступают из зыбкой таинственной и влекущей к себе тьмы, откуда, кажется, берет начало жизнь на земле.

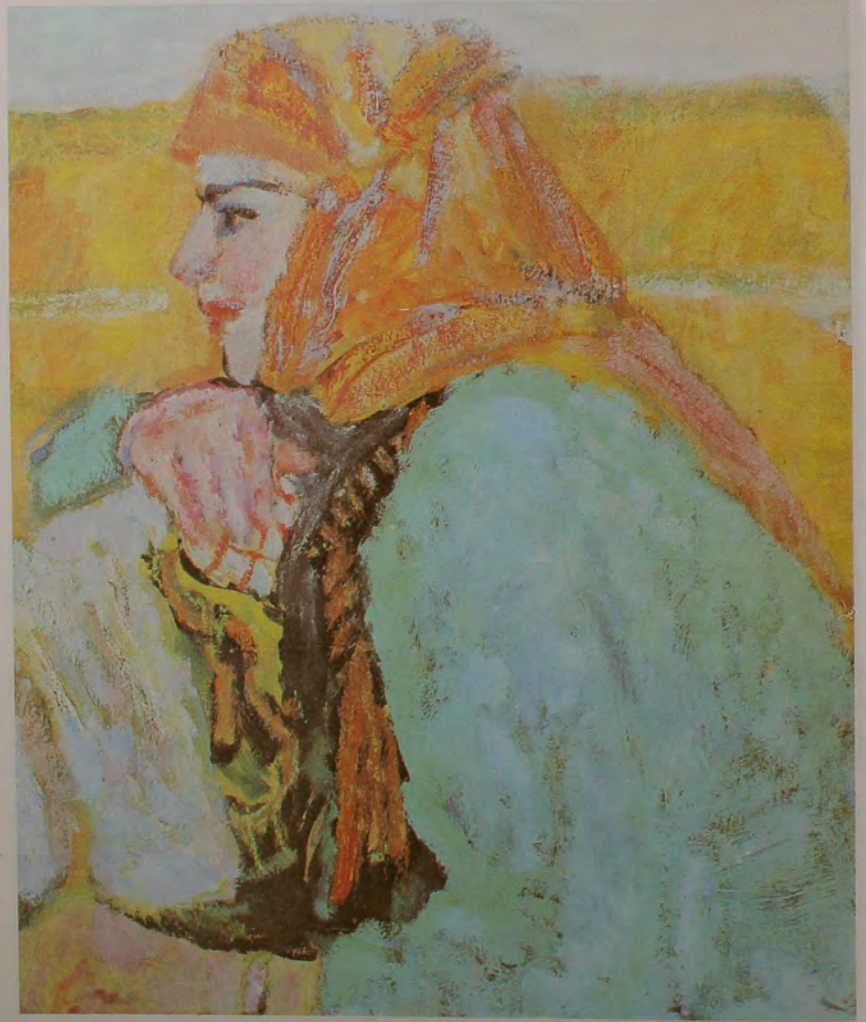
Размышляя об эстетических и духовных ценностях, которые открываются ему в безымянном народном творчестве, Михаил Греку приходит к выводу:

— Чем глубже вникаешь в суть народного национального искусства, тем более общечеловеческим оказывается его содержание. Этнография — разделяет, поэзия — сближает; она — общая память человечества.

С Кузнецкого моста выставка произведений Михаила Греку переехала в Киев. В небольших залах Музея русского искусства работам молдавского живописца могло быть тесно. Но свершается чудо: реальное пространство помещений как будто расширяется, наполняясь особым свечением, которое исходит от картин. Волшебство колорита, жизнь фактуры создают эстетическую среду, порождающую образы — в чем-то знакомые, близкие, в чем-то непознанные, загадочные, — и они завораживают, их невозможно забыть.

Л. ТОМА,
кандидат искусствоведения.

Михаил ГРЕКУ



Алексанdр СОЛЖЕНИЦЫН

Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки, послал по ней Гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, легкий — по перекладинам взобрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый то выпуск трубы еще с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет — так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта — для себя.

А Сенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика — хлопчика и прибивать заставили. Лазит, чертеныш, кричит сверху.

Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало — и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней!

Один день Ивана Деонисовича

— В январе солнышко коровке бок согрело! — объявил Шухов.

Кильгас ящик растворный сбивать кончил, еще топориком пристукнул, закричал:

— Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму!

Смеется Павло:

— Сто грамм получишь.

— Прокурор добавит! — кричик Гопчик сверху.

— Не трогьте, не трогьте! — Шухов закричал. (Не так толь резать стали).

Показал — как.

К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильгасу помощь дал и велел растворные корытца делать — наверх раствор носить. На подноску песка еще пару людей добавил. Наверх послал — чистить от снегу подмости и саму кладку. И еще внутри одного — песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать.

А снаружи мотор зафырчал — шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать — показывать, куда шлакоблоки скидывать.

Одну полосу толя нашили, вторую. От толя — какое укрывище? Бумага — она бумага и есть. А все ж вроде стенка сплошная стала. И — темней внутри. Оттого печь ярче.

Алешка угля принес Одни кричат ему: Сыпь! Другие: не сыпь! хоть при дровах погреемся! Стал, не знает, кого слушать.

Фетюков к печке пристроился и сует же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот поднял и к носилкам пихает:

— Иди песок носить, падло!

Кавторанг — он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит, сказано делать — значит, делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет.

Долго ли, коротко ли — вот все три окна толем зашили. Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть — так, чтоб, голову нагнувши, человек войти мог. Забили.

Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь — поднимать их как без подъемника?

— Каменщики! Ходимте, подывымось! — пригласил Павло.

Это — дело почетное. Поднялись Шухов и Кильгас с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да еще теперь Сенька перила сбил — жмись к стене, каб вниз не опрокинуться. Еще то плохо — к перекладинам трапа снег примерз, округлил их, ноге упору нет — как раствор носить будут?

Поглядели, где стены класть, уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лед сколоть да веничком промести.

Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих, перекидывать, а по второму этажу еще двоих, подносить, — и все ж быстрее будет.

Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будет. А за начатую кладку зайдешь, укроешься — ничего, теплей намного.

Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идет! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе.

Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того — за водой, того — за углем. А Кильгас — своей команде:

— Ну мальцы, надо носилки кончать.

— Бывает, и я им помогу? — Шухов сам у Павла работу просит.

— Поможить. — Павло кивает.

Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже.

— Не иначе как двенадцать, — объявил и Шухов. — Солнышко на перевале уже.

— Если на перевале. — отозвался кавторанг, — так, значит, не двенадцать, а час.

— Это почему ж? — поразился Шухов. — Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.

— То — дедам! — отрубил кавторанг. — А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

— Чей же эт декрет?

— Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?

Побили еще, постучали, четыре корытца сколотили.

— Ладно, посыдымо, погриемось, — двоим каменщикам сказал Павло. — И вы, Сенька, писля обида тоже будэтэ ложить. Сидайтэ!

И — сели к печке законно. Все равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить некстати, замерзнет.

Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар дает. Только около печи его и чуешь, а по всему залу — холод, как был.

Рукавички сняли, руками близ печки водят все четверо.

А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки — отсыреют, парок пойдет, ничуть тебе теплей не станет. А еще ближе к огню сунешь — сожжешь. Так с дырой до весны и протопаешь, других не жди.

— Да Шухову что? — Кильгас подначивает, — Шухов, братцы, одной ногой почти дома.

— Вон той, босой, — подкинул кто-то. Рассмеялись. (Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает.)

— Шухов срок кончает.

Самому-то Кильгасу двадцать пять дали. Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околев, — а ну, двадцать пять проживи?!

Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот он—де срок кончает, — но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было, пять лет пересидки получилось. Закон — он

выворотной. Кончится десятка скажут, на тебе еще одну. Или в ссылку.

А иной раз подумаешь — дух сопрет: срок-то всех ж кончается, катушка-то на размоте... Господи! Своими ногами — да на волю, а?

Только вслух об этом высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильгасу;

— Двадцать пять ты свои не считай. Двадцать пять сидеть ли, нет ли, это еще вилами по воде. А уж я отсидел восемь полных, так это точно.

Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?

Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что-таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Было б их пять, может , сличили показания, поверили б, двоим никак: сговорились, мол, гады насчет побега.

Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко:

— Я из плена три раза бежал. И три раза ловили.

Сенька, терпельник, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били.

— Ты, Ваня, восемь сидел — в каких лагерях? — Кильгас перечит. — Ты в бытовых сидел, вы там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди. Еще никто не просидел.

— С бабами!... С б а л а н а м и, а не с бабами...

С бревнами, значит.

В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный — на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу.

Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес.

— Не—ет, братцы... здесь поспокойней, пожалуй, — прошепелявил он. — Тут съём — закон. Выполнил, не выполнил — катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут — жить можно. Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера.

— Поспокойней! — Фетюков шипит (дело к перерыву, и все к печке подтянулись) . — Людей в постелях режут! Поспокойней!..

— Нэ людэй, а стукачив! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову.

И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прям на вагонке зарезали, по подъему. И потом еще работягу невинного — место, что ль, спутали. И один стукач сам к начальству в БУР убежал, там его, в тюрьме каменной, и спрятали. Чудно... Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...

Вдруг прогудел гудок с энергопоезда. Он не сразу во всю мощь загудел, а сперва хрипловато так, будто горло прочищал.

Полдня — долой! Перерыв обеденный!

Эх, пропустили! давно б в столовую идти, очередь занимать. На объекте одиннадцать бригад, а в столовую больше двух не входит.

Бригадира все нет. Павло окинул оком быстрым и так решил:

— Шухов и Гопчик — со мной! Кильгас! Як Гопчика до вас пришлю — ведить зараз бригаду!

Места их у печки тут же и захватили, окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут.

— Кончай ночевать! — кричат ребята. — Закуривай!

И друг на друга смотрят — кто закурит. А закуривать некому — или табака нет, или зажимают, показать не хотят.

Вышли наружу с Павлом. И Гопчик сзади зайчишкой бежит.

— Потеплело, — сразу определил Шухов. — Градусов восемнадцать, не больше. Хорошо будет класть.

Оглянулись на шлакоблоки — уж ребята на подмости покидали многие, а какие и на перекрытие, на второй этаж.

И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, — насчет кавторангова декрета!

А наоткрыте, где ветру простор, все же потягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни январь.

Производственная кухня это халабуда маленькая, из тесу сколоченная вокруг печи, да еще жестью прожавленной обитая, чтобы щели закрыть. Внутри халабуду надвое делит перегородка — на кухню и на столовую. Одинаково, что на кухне полы не стелены, что в столовой. Как землю заторили ногами, так и осталось в буграх да в ямках. А кухня вся — печь квадратная, в нее котел вмазан.

Орудуют на той кухне двое — повар и санинструктор. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят, на бригаду — кило, а на объект получается немного меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает нести ш е с т е р к е. Чем самому спину ломать, лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить — тоже не сам повар делает, тоже работяги да доходяги — и им он по порции, чужого не жалко. Еще положено, чтоб ели, не выходя со столовой: миски тоже из лагеря носить приходится (на объекте не оставишь, ночью вольные сопрут), так носят их полсотни, не больше, а тут моют да оборачивают побыстрей (носчику мисок — тоже порция сверху). Чтоб мисок из столовой не выносили — ставят еще нового шестерку на дверях — не выпускать мисок. Но как он ни стереги — все равно унесут, уговорят ли, глаза ли

отведут. Так еще надо по всему, по всему объекту сборщика пустить: миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию. И тому порцию.

Сам повар только вот что делает: крупу да соль в котел засыпает, жиры делит — в котел и себе (хороший жир до работяг не доходит, плохой жир — весь в котле. Так зэки больше любят, чтоб со склада отпускали жиры плохие). Еще — помешивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает: сидит — смотрит. Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пуза. И сам — от пуза. Тут дежурный бригадир приходит — меняются они ежеден — пробу снимать, проверять будто, можно ли такой кашей работяг кормить. Бригадиру дежурному — двойную порцию.

Тут и гудок. Тут приходят бригадиры в черед, и выдает повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы — не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откроешь.

Свисит над головой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно. Хлеб растет в хлеборезке одной, овес колосится — на продскладе. И хоть спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь — из земли еды не выколотишь, больше, чем начальничек тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварами, да за шестерками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают. А ты — вкалывай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет.

Вошли Павло с Шуховым и с Гопчиком в столовую — там прямо один к одному стоят, не видно за спинами ни столов куцых, ни лавок. Кто сидя ест, а больше стоя, 82-я бригада, какая ямки долбала без угреву полдня, — она-то первые места по гудку и захватила. Теперь и поевши не уйдет — где ж им больше греться? Ругаются на нее другие, а ей что по спине, что по стене — все отрадней, чем на морозе.

Пробились Павло и Шухов локтями. Хорошо пришли: одна бригада получает, да одна всего в очереди, тоже помбригадиры у окошка стоят. Остальные, значит, за ними будут.

— Миски! Миски! повар кричит из окошка, и уж ему суют отсюда, и Шухов тоже собирает и сует — не ради каши лишней, а быстрей чтоб.

Еще там сейчас за перегородкой шестерки миски моют — это тоже за кашу.

Начал получать тот помбригадир, что перед Павлом, — Павло крикнул через головы:

— Гопчик!

— Я! — от двери. Тонюсенький у него голосочек, как у козленка.

— Зови бригаду!

Убег.

Главное, каша сегодня хороша, лучшая каша — овсянка. Не часто она бывает. Больше идет магара по два раза в день или мучная затирка. В овсянке между зернами — навар этот сытен, он-то и дорог.

Сколища Шухов смолоду овса лошадям скормил никогда не думал, что будет всей душой изнывать по горсточке этого овса!

— Мисок! Мисок! кричат из окошка.

Подходит и 104-й очередь. Передний помбригадир в свою миску получил двойную "бригадирскую", отвалил от окошка.

Тоже за счет работяг идет — и тоже никто не перечит. На каждого бригадира такую дают, а он хоть сам ешь, хоть помощнику отдавай. Тюрин Павлу отдает.

Шухову сейчас работа такая: вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу похорошему попросил, очистил стола кусок мисок на двенадцать, если вплоть их ставить, да на них вторым этажом шесть станут, да еще сверху две, теперь надо от Павла миски принимать, счет его повторять и доглядывать, чтоб чужой никто миску со стола не увел. И не толкнул бы локтем никто, не опрокинул. А тут же рядом вылезают с лавки, влезают, едят. Надо глазом границу держать: Миску — свою едят? или в нашу залезли?

— Две! Четыре! Шесть! — считает повар за окошком. Он сразу по две в две руки дает. Так ему легче, по одной сбиться можно.

— Дви, чотыри, шисть, — негромко повторяет Павло туда ему в окошко. И сразу по две миски передает Шухову, а Шухов на стол ставит. Шухов вслух ничего не повторяет, а считает острей их.

— Восемь, десять.

Что это Гопчик бригаду не ведет?

— Двенадцать, четырнадцать... — идет счет.

Да мисок недостало на кухне. Мимо головы и плеча Павла видно Шухову: две руки повара поставили две миски в окошечке и, держась за них, остановились, как бы в раздумье.

Должно, он повернулся и посудомоев ругает. А тут ему в окошечко еще стопку мисок опороженных суют. Он с тех нижних мисок руки стронул, стопку порожних назад передает.

Шухов покинул всю гору мисок своих за столом, ногой через скамью перемахнул, обе миски потянул и, вроде не для повара, а для Павла, повторил не очень громко:

— Четырнадцать.

— Стой! Куда потянул? — заорал повар.

— Наш, наш, — подтвердил Павло.

— Ваш-то ваш, да счета не сбивай!

— Четырнайцать, — пожал плечами Павло. Он-то бы сам не стал миски к о с и т ь, ему как помбригадиру, авторитет надо держать, ну, а тут повторил за Шуховым, на него же и свалить можно.

— Я "четырнадцать" уже говорил! — разоряется повар.

— Ну что ж, что говорил! А сам не дал, руками задержал! — шумнул Шухов. — Иди считай, не веришь? Вот они, на столе все!

Шухов кричал повару, но уже заметил двух эстонцев, пробивавшихся к нему, и две миски с ходу им сунул. И еще он успел вернуться к столу, и еще успел сочнуть, что все на месте, соседи сперетъ ничего не управились, а свободно могли.

В окошке вполноту показалось красная рожа повара.

— Где миски? — строго спросил он.

— На, пожалуйста! — кричал Шухов. — Отодвинься ты, друг ситный, не засть! — толкнул он кого-то. — Вот две! — он две миски второго этажа поднял повыше. — И вон три ряда по четыре, акурат, считай.

— А бригада не пришла? — недоверчиво смотрел повар в том маленьком просторе, который давало ему окошко, для того и узкое, чтоб к нему из столовой не поглядывали, сколько там в котле осталось.

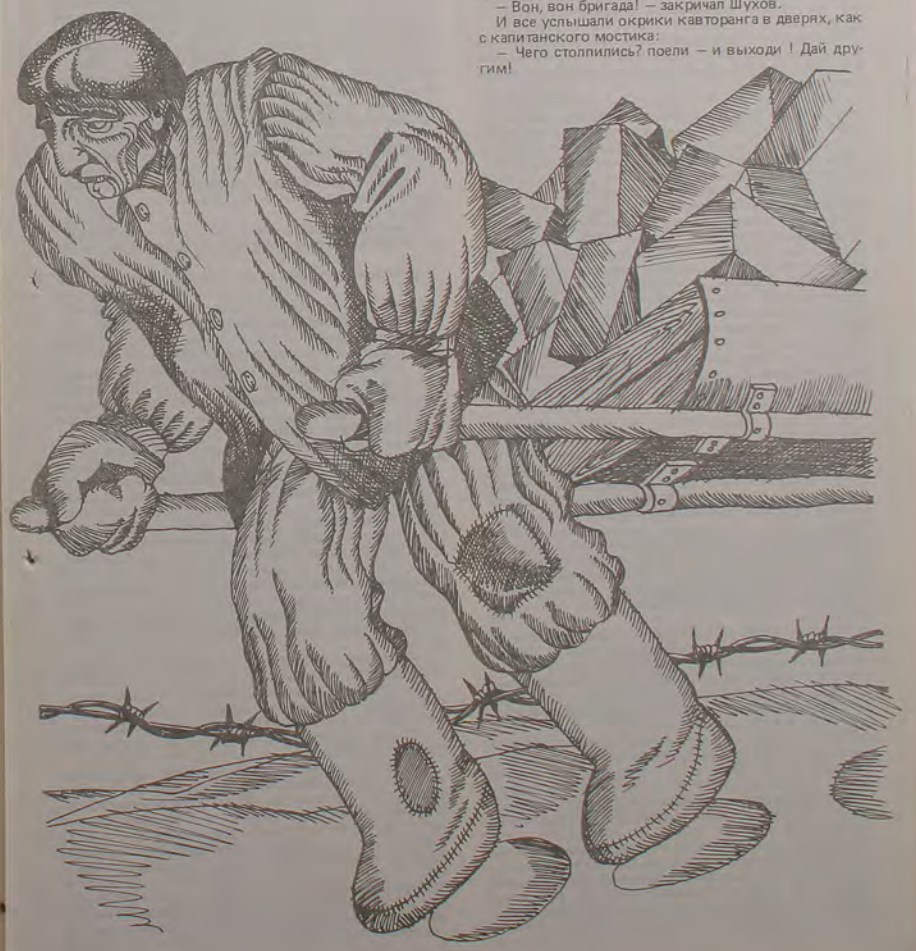
— Ни, нэма ще бригады, — покачал головой Павло.

— Так какого ж вы хрена миски занимаете, когда бригады нет? — рассвирепел повар.

— Вон, вон бригада! — закричал Шухов.

И все услышали окрики кавторанга в дверях, как с капитанского мостика:

— Чего столпились? поели — и выходи ! Дай другим!



Повар пробуркотел еще, выпрямился, и опять в окошке появились его руки.

— Шестнадцать, восемнадцать...

И, последнюю налив, двойную:

—Двадцать три. Все! Следующая!

Стали пробиваться бригадники, и Павло протягивал им миски, кому через головы сидящих, на второй стол.

На скамейке на каждой летом село бы человек по пять, но как сейчас все были одеты толсто — еле по четыре умещалось, и то ложками им двигать было несправно.

Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из-под валеного голенища вытянул ложку "Усть-Ижма,1944", шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краев.

Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать. Но приходилось поспешить чтобы Павло увидел, что уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут еще Фетюков, который пришел с эстонцами вместе, все подметил, как две каши закосили, стал прямо против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порции. Он хотел тем показать Павлу, что ему тоже надо бы дать, если не порцию, то хоть поллорции.

Смуглый молодой Павло, однако, спокойно ел свою двойную, и по его лицу никак было не знать, видит ли он, кто тут рядом, и помнит ли, что две порции лишних.

Шухов доел кашу. Оттого, что он желудок свой раззявил сразу на две — от одной ему не стало сытно, как становилось всегда от овсянки. Шухов полез во внутренний карман, из тряпицы беленькой достал свой незамерзлый полукруглый кусочек верхней корочки, ею стал бережно вытирать все остатки овсяной размазни со дна и разложистых боковин миски. Насобирав, он слизывал кашу с корочки языком и еще собирал корочкою с эстолько. Наконец миска была чиста, как вымыта, разве чуть замутнена. Он через плечо отдал миску сборщику и продолжал минуту сидеть со снятой шапкой.

Хоть закосил миски Шухов, а хозяин им — помбригадир.

Павло потомил еще немного, пока тоже кончил свою миску, но не вылизывал, а только ложку облизал, спрятал, перекрестился. И тогда тронул слегка — передвинуть было тесно — две миски из четырех, как бы тем отдавая их Шухову.

— Иван Денисович. Одну соби возмить, а одну Цезарю отдасьтэ.

Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору (Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере), — помнил, но когда Павло коснулся сразу двух мисок, сердце Шухова обмерло: не обе ли лишние ему отдавал Павло? И сейчас же опять пошло сердце своим ходом.

И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фетюкову. Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило.

... А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз или в холодную, необогревающую обогревалку. Он так же занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы.

... На него уже кричали и в спин, толкали, чтоб он освобождал место.

Павло сказал:

— Капитан! А капитан?

Буйновский вздрогнул, как просыпаясь, и оглянулся.

Павло протянул ему кашу, не спрашивая, хочет ли он.

Брови Буйновского поднялись, глаза его смотрели на кашу, как на чудо невиданное.

— Берить, берить, — успокоил его Павло и, забрав последнюю кашу для бригадира, ушел.

... Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путем. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, — над овсом и водой.

... Фетюков злобно посмотрел на Шухова, на капитана и отошел.

А по Шухову, правильно, что капитану отдали. Придет пора, и капитан жить научится, а пока не умеет.

Еще Шухов слабую надежду имел — не отдаст ли ему и Цезарь своей каши? Но не должен бы отдавать, потому что посылки не получал уже две недели.

После второй каши так же вылизав донце и развал миски корочкой хлеба и так же слизывая с корочки каждый раз, Шухов напоследок съел и саму корочку. После чего взял охолоделую кашу Цезаря и пошел.

— В контору! - оттолкнул он шестерку на дверях, не пропускавшего с миской.

Контора была — рубленая изба близ вахты. Дым, как утром, и посейчас все валил из ее трубы. Топил там печку дневальный, он же и посыльный, повременку ему выписывают. А щепок да палочья для конторы не жалеют.

Заскрипел Шухов дверью тамбура, еще потом одной дверью, обитой паклею, и, вваливая клубы морозного пара, вошел внутрь и быстренько притянул за собой дверь (спеша, чтоб не крикнули на него: "Эй, ты вахлак, дверь закрывай!").

Жара ему показалась в конторе, ровно в бане. Через окна с обтаявшим льдом солнышко играло уже не зло, как там, на верху ТЭЦ, а весело. И расходился в луче широкий дым от трубки Цезаря, как ладан в церкви. А печка вся красна насквозь светилась, так раскалили, идолы. И трубы докрасна.

В таком тепле только присядь на миг — и заснешь тут же.

Комнат в конторе две. Второй, прорабской, дверь недоприкрыта, и оттуда голос прораба гремит:

— Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных щитах, у вас заключенные на дрова рубят и в обогревалках сжигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключенные разгружали на сильном ветру и еще носилками носили до десяти метров, так вся площадка вокруг склада в цементе по щиколотку, и рабочие ушли не черные, а серые. Сколько потерь?

Совещание, значит, у прораба. Должно, с десятниками.

У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкуропатенко, Б-219, жердь кривая, бельмом уставился в окошко, доглядает и сейчас не прут ли его дома соорные. Толь-то проахал дядя.

Бухгалтера два, тоже зэки, хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел — сеточку такую подстроили из проволоки.

Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К шухову он спиной, не видит.

А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору жилистый старик. Кашу ест.

— Нет, батенька, мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален, 'Иоанн Грозный' — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривляньe! — ложку перед ротом задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок).

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, п р о п у с т и л и бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!

— Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое:

— Но слушайте, искусство — это не ч т о, а к а к.

Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:

—Не уж, к чертовой матери ваше "как", если оно добрых чувств во мне не пробудит!

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной.

И Шухов, поворотясь, ушел тихо.

Ничего, не шибко холодно на улице. Кладка сегодня как ни то пойдет.

Шел Шухов тропою и увидел на снегу кусок стальной ножовки, полотна поломанного кусок. Хоть ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперед не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать ее на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого.

На ТЭЦ пар, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою веревочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную.

Там после солнца совсем темно ему показалось и не теплей, чем на улице. Сыроватей как-то.

Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя парок. Кому места не хватило — сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел..

Шу-шу — среди ребят. Повеселели ребята. И Иван Денисычу тоже тихо говорят бригадир процентовку хорошо закрыл. Веселый пришел.

Уж где он там работу нашел, какую — это его, бригадирова, ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят, и обогревалку не оплатят: это для себя делали, не для производства. А в народе что-то писать надо. Может, еще Цезарь бригадиру что в нарядах подмучает — уважителен к нему бригадир, зря бы не стал.

"Хорошо закрыл"—значит, теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Ладно зэка желудок все перетерпливает: сегодня как-нибудь, а завтра наедимся. С этой мечтой и спать ложится лагерь в день гарантийки.

А разобраться — пять дней работаем, а четыре дня едим.

Не шумит бригада. У кого есть — покуривают втихомолку. Сгрудились во теми — и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум — трем рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился — значит, в доброй душе.

Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно.

— ... Я и перед командиром батальона дрожал, а тут комполка! "Красноармеец Тюрин по вашему распоряжению..." Из-под бровей диких уставился "А зовут как, а по отчеству?" Говорю. "Год рождения?" Говорю. Мне тогда, в тридцатом году, что ж, двадцать два годика было, теленок. "Ну, как служишь, Тюрин?" — "Служу трудовому народу!" Как вскипятится, да двумя руками по столу — хлоп! 'Служишь ты трудовому народу, да кто ты сам, подлец?!" Так меня варом внутри!.. Но крепнюсь: "Стрелок-пулеметчик, первый номер. Отличник боевой и полити..." — "Какой первый номер, гад? Отец твой кулак! Вот, из Каменя бумажка пришла! Отец твой кулак, а ты скрывался, второй год тебя ищут!" Побледнел я, молчу. Год писем не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома про меня. "Какая ж у тебя совесть орет, четыре шпалы трясутся, — обманывать рабоче-крестьянскую власть?" Я думал, бить будут. Нет, не стал. Подписал приказ — шесть часов и заворота выгнать... А на дворе — ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее, б/у, третьего срока носки,шинельку кургузую. Я — деревня

был, не знал, что могу не сдать, послать их... И лютую справочку на руки: "Уволен из рядов... Как сын кулака". Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом четверо суток — литеры железнодорожной не выписали, довольствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом последний раз и выпихнули из военного городка.

... Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — обое расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: "Все ж ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь".

После двух мисок каши закурить хотелось Шухову горше смерти. И, располагая купить у латыша из седьмого барака два стакана самосада и тогда рассчитаться Шухов тихо сказал эстонцу-рыбаку

— Слышь, Эйно, на одну закрутку займи мне до завтра. Ведь я не обману.

Эйно посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша так же перевел на брата названого. Все у них пополам, ни табачинки один не потратит. Чего-то промычали друг другу, и достал Эйно кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ладонь Шухову, примерился и еще несколько ленточек добавил. Как раз на одну завертку, не больше.

А газетка у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уголек, скатившийся меж ног бригадира, — и потянул! И потянул! И кружь такая пошла по телу всему, и даже как будто хмель в ноги и в голову.

Только закурил, а уж через всю растворную на него глаза зеленые вспыхнули: Фетюков. Можно б и смиловаться дать ему, шакалу, да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел. А лучше Сеньке Клевшину оставить. Он и не слышит, чего там бригадир рассказывает, сидит, горюня, перед огнем, набок голову склоня.

Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе:

— Барахольще, какое было, загнал скупщику за четверть цены. Купил из-под полы две буханки хлеба, уж карточки тогда были. Думал товарным добираться, но и против того законы суровые вышли. А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег, только по книжечкам да командировочным. На перрон тоже не было ходу: в дверях милиция, с обеих сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи — где ночевать?.. Осилил я каменную гладкую стенку перемахнул с буханками — и в перронную уборную. Там постоял — никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик. А на путе стоит как раз Владивосток — Москва. За кипятком — свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипятильнику боится. Ноги у нее крохотулечные, обшпарят или отдавят. "На, говорю, буханки мои, сейчас тебе кипятку!" Пока налил, а поезд трогает. Она буханки мои держит, плачет, что с ими делать чайник бросить рада. "Беги, кричу, беги, я за тобой!" Она впереди, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, — а поезд гону! — Я — тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать: ехали другие бойцы в вагоне, он меня с ними попутал.

Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, недобытчик. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососет, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердце прижал и головой кивает. Ну да что с глухого!..

Рассказывает бригадир:

— Шесть их, девушек, в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни, семафоры зеленые... Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы, спрашивают, из какого вагона? Вздохнул я и открылся: из такого я, девочки, вагона, что вам жить, а мне умирать...

Тихо в растворной. Печка горит.

— Ахали, охали, совещались... Все ж прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с охранниками ходили. Не о билете шло — о шкуре. До Новосибирска дотаили, довезли... Между прочим, одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил: она в тридцать пятом в Кировском потоке пропала, доходила на о б щ и х, я ее в портняжную устроил.

— Може, раствор робыть? — Павло шепотом бригадира спрашивает.

Не слышит бригадир.

— Домой я ночью пришел с огородов. Отца уже угнали, мать с ребятишками этапа ждала. Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясемся, свет погасили и на пол сели под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали. Той же ночью я маленького братишку прихватил и повез в теплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем что его, что себя. Во Фрунзи асфальт варили в котле и шпана кругом сидела. Я подсел к ним: "Слушай, господа бесштанные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!" Взяли... Жалею, что и сам к блатным не пристал..

— И никогда больше брата не встречали? — кавторанг спросил.

Тюрин зевнул.

— Не, никогда не встречал. — Еще зевнул. Сказал: — Ну, не горюй, ребята! Обживемся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить — начинайте, гудка не ждите.

Вот это оно и есть — бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать значит работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тоже.

По гудку если раствор разводить, так каменщикам — стой?

Вздохнул Шухов и поднялся.

— Пойти лед сколоть.

Взял с собой для леду топорик и метелку, а для кладки — молоточек каменотесный, рейку, шнурок, отвес.

Кильгас руманый посмотрел на Шухова, скривился — мол, чего попереп бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильгасу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене — он с посылками проживет.

А все же встает, понимает Бригаду держать из-за себя нельзя.

— Подожди, Ваня, и я пойду! — обзывает.

Небось, небось, толстощекий. На себя б работал еще б раньше поднялся.

(А еще потому Шухов поспешил, чтоб отвес прежде Кильгаса захватить, отвес-то из инструменталки взят один).

Павло спросил бригадира:

— Мают класть утрёх? Ще одного нэ поставимо? Або раствора нэ выстаче?

Бригадир насупился, подумал.

— Четвертым я сам стану, Павло. А ты тут — раствор! Ящик велик, поставь человек шесть, и так: из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать. Чтобы мне перерыву ни минуты!

— Эх! — Павло вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями еще не трепан, на галушках украинских яшка отъеденная. — Як вы сами класть, так я сам — раствор робыть! А подывымось, кто бильш наробэ. А дэ тут найдлинниша лопата?

Вот это и есть бригада! Стрелял Павло из-под леса, да на районы ночью налетывал — стал бы он тут горбить! А для бригадира — это дело другое!

Вышли Шухов с Кильгасом наверх, слышат — и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался глухой.

На втором этаже стены только начаты кладкой: в три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая эта спорая кладка — от колен до груди, без подмостей.

А подмости, какие тут раньше были, и козелки — все зэки растащили: что на другие здания унесли, что спалили — лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь, по-хозяйски ведя, уже завтра надо козелки сбивать, а то остановимся.

Далеко видно с верха ТЭЦ: и вся зона вокруг заснеженная, пустынная (попрятались зэки, греются до гудка) и вышки черные, и столбы заостренные, под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь.

А еще невдали видно — энергопоезд. Ну, дымит, небо коптит! И — задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Не много и переработали.

— Эй, стахановец! Ты с отвесиком побыстрей управляйся! — Кильгас подгоняет.

— Да на твоей стене смотри лёду сколько! Ты лед к вечеру сколешь ли? Мастерка-то бы зря наверх не таскал, — изгаляется над ним и Шухов.

Хотели по тем стенкам становиться, как до обеда их разделили, а тут бригадир снизу кричит:

— Эй, ребята! Чтоб раствор в ящиках не мерз, по двое станем. Шухов! Ты на свою стену Клевшина возьми, а я с Кильгасом буду. А пока Гопчик за меня у Кильгаса стенку очистит.

Переглянулись Шухов с Кильгасом. Верно. Так спорей.

И — схватились за топоры.

И не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блестело по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги — кто ямки долбать, с утра не додолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильгасова. Он указал Сеньке, где тому снимать лед и сам ретиво рубил его обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду — тоже, работу эту он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ и два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась — это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса. Там, на углу, рассчитал он, Кильгас не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. А пока те на уголке будут ковыряться, Шухов тут погонит больше полстены, чтоб наша пара не отставала. И наметил он, куда ему сколько шлакоблоков класть. И лишь подносчики шлакоблоков наверх влезли, он тут же Алешку заарканил:

— Мне носи! Вот сюда клади! И сюда.

Сенька лед докалывал, а Шухов уже схватил метелку из проволоки стальной, двумя руками схватил и туда-сюда, туда-сюда пошел ею стену драить, очищая верхний ряд шлакоблоков хоть не дочиста, но до легкой сединки снежной, и особенно из швов.

Влез наверх и бригадир, и пока Шухов еще с метелкой чушкался, прибил бригадир рейку на углу. А по краям у Шухова и Кильгаса давно стоят.

— Гэй! — кричит Павло снизу. — Чи там е жива людына наверси? Тримайтэ раствор!

Шухов аж взопрел: шнур-то еще не натянут! Запалился. Так решил: шнур натянуть не на ряд, не на два, а сразу на три, с запасом. А чтобы Сеньке легче было еще прихватить у него кусок наружного ряда, а чуть внутреннего ему покинуть.

Шнур по верхней брове натягивая, объяснил Сеньке и словами и знаками, где ему класть. Понял глухой. Губы закуся, глаза перекосив, в сторону бригадировой стены кивает — мол, дадим огоньку? Не отстанем! Смеется.

А уж по трапу и раствор несут. Раствор будут четыре пары носить. Решил бригадир ящиков растворных близ каменщиков не ставить никаких — ведь раствор от перекладывания только мерзнуть будет. А прямо носилки поставили — и разбирай два каменщика на стену, клади. Тем временем подносчикам, чтобы не мерзнуть на верхотуре зря, шлакоблоки поверху подбрасывать. Как вычерпают их носилки, снизу без перерыву — вторые, а эти катись вниз. Там ящик носилочный у печки оттаивай от замерзшего раствору ну и сами сколько успеете.

Принесли двое носилок сразу — на Кильгасову стену и на шуховскую. Раствор парует на морозе, дымится, а тепла в нем чуть. Мастерком его на стену шлепнув да зазевавшись — он и прихвачен. И бить его тогда тесачком молотка, мастерком не собьешь. А и шлакоблок положишь чуть не так — и уж примерз, перекособоченный. Теперь только обухом топора тот шлакоблок сбивать да раствор скалывать.

Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет.

Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из

кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). И еще раствор мастерком разровняв — шлеп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примерз.

Теперь, если по бокам из-под него выдавилось раствору, раствор этот ребром же мастерка отбить поскорей, со стены сошвырнуть (летом он под следующий кирпич идет, сейчас и не думай) и опять нижние швы посмотреть — бывает, там не целый блок, а накрошено их, — и раствору опять бросить, да чтобы под левый бок толще, и шлакоблок не просто класть, а справа налево подозом, он и выдавит этот лишек раствора меж собой и слева соседом. Глазом по отвесу. Глазом плашмя. Схвачено. Следующий!

Пошла работа. Два ряда как выложим да старые огрехи подровняем, так вовсе гладко пойдет. А сейчас — зорче смотреть!

И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке навстречу. И Сенька там на углу с бригадиром разошелся, тоже сюда идет.

Подносчикам мигнул Шухов — раствор, раствор под руку перетаскивайте, живо! Такая пошла работа — недосуг носу утереть.

Как сошлись с Сенькой да почали из одного ящика черпать — а уж и с заскребом.

— Раствору! — орет Шухов через стенку.

- Да—е—мо! — Павло кричит.

Принесли ящик. Вычерпали и его, сколько было жидкого, а уж по стенкам схватился — выцарапывай сами! Нарастет коростой — вам же таскать вверх—вниз. Отваливай! Следующий!

Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий — не могли их мыслей отвлечь от кладки. Только Клевшин нога об ногу постукивал: у него, бессчастного, сорок шестой размер, валенки ему подобрали от разных пар тесноватые.

Бригадир от поры до поры крикнет: "Раство ору!" И Шухов свое: "Раство—ору!" Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится. Шухову надо не отстать от той пары, он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы.

Буйновский сперва, с обеда, с Фетюковым вместе раствор носил. По трапу и круто, и отступчиво, не очень он тянул поначалу, Шухов его подгонял легонько:

—Кавторанг, побыстрей! Кавторанг, шлакоблоков!

Только с каждыми носилками кавторанг становился расторопнее, а Фетюков все ленивее: идет, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести.

Костыльнул его Шухов в спину разок:

— У, гадская кровь! А директором был — небось с рабочих требовал?

— Бригадир! — кричит кавторанг. — Поставь меня с человеком! Не буду я с этим г... ком. носить!

Переставил бригадир: Фетюкова шлакоблоки снизу на подмости кидать, да так поставил, чтоб отдельно считать, сколько он шлакоблоков вскинет, а Алешку — с кавторангом. Алешка — тихий, над ним не командует только кто не хочет.

— Аврал салага! — ему кавторанг внушает. — Видишь, кладка пошла!

Улыбается Алешка уступчиво:

— Если нужно быстрей — давайте быстрей. Как вы скажете.

И потопали вниз.

Смирный — в бригаде клад.

Кому-то вниз бригадир кричит. Оказывается, еще одна машина со шлакоблоками подошла. То погода ни одной не было, то как прорвало их. Пока и работать, что шлакоблоки возят. Первый день. А потом простой будет, не разгонишься.

И еще вниз ругается бригадир. Что-то о подъемнике. И узнать Шухову хочется, и некогда: стену выравнивать. Подошли подносчики, рассказали: пришел монтер на подъемнике мотор исправлять и с ним прораб по электроработам, вольный. Монтер копается, прораб смотрит.

Это — как положено: один работает, один смотрит.

Сейчас бы исправили подъемник — можно б и шлакоблоки им подымать, и раствор.

Уж повел Шухов третий ряд (и Кильгас тоже третий начал), как по трапу прется еще один дозорщик, еще один начальник — строительный десятник Дэр. Москвич. Говорят, в министерстве работал.

Шухов от Кильгаса близко стоял, показал ему на Дэра.

— А—а! — отмахивается Кильгас. — Я с начальством вообще дела не имею. Только если он с трапа свалится, тогда меня позовешь.

Сейчас станет сзади каменщиков и будет смотреть. Вот этих наблюдателей пуще всего Шухов не терпит. В инженеры лезет, свинячья морда! А один раз показывал, как кирпичи класть, так Шухов обхохотался. По-нашему, вот построй один дом своими руками, тогда инженер будешь.

В Темгеневе каменных домов не знали, избы из дерева. И школа тоже рубленая, из заказника лес привозили в шесть саженей. А в лагере понадобилось на каменщика — и Шухов, пожалуйста, каменщик. Кто два дела руками знает, тот еще и десять подхватит.

Нет, не свалился Дэр, только споткнулся раз. Взбежал наверх чуть не бегом.

— Тю—урин! — кричит, и глаза навыкате. — Тю—рин!

А вслед ему по трапу Павло взбегает с лопатой, как был.

Бушлат у Дэра лагерный, но новенький, чистенький. Шапка отличная, кожаная. А номер и на ней как у всех: Б-731.

— Ну? — Тюрин к нему с мастерком вышел. Шапка бригадирова съехала накось, на один глаз.

Что-то небывалое. И пропустить никак нельзя, и раствор стынет. Кладет Шухов, кладет и слушает.

— Да ты что?! — Дэр кричит, слюной брызгает. — Это не карцером пахнет! Это уголовное дело, Тюрин! Третий срок получишь!

Только тут прострельнуло Шухова, в чем дело. На Кильгаса глянул — и тот уж понял. Толь! Толь увидал на окнах.

За себя Шухов ничуть не боится, бригадир его не продаст. Боится за бригадира. Для нас бригадир — отец, а для них — пешка. За такие дела второй срок на севере бригадиру вполне паяли.

Ух, как лицо бригадирово перекосило! Ка—ак швырнет мастерок под ноги! И к Дэру — шаг! Дэр оглянулся — Павло лопату наотмашь подымает.

Лопату-то! Лопату-то он не зря прихватил...

И Сенька, даром что глухой, понял: тоже руки в боки и подошел. А он здоровый, леший.

Дэр заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол.

Бригадир наклонился к Дэру и тихо так совсем, а явственно здесь наверху:

— Прошло ваше время, заразы, срока давать. Ес-сли ты слово скажешь, кровосос, — день последний живешь, запомни!

Трясет бригадира всего. Трясет, не уймется никак.

И Павло остролицый прямо глазом Дэра режет, прямо режет.

— Ну что вы, что вы, ребята! —Дэр бледный стал — и от трапа подальше.

Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, мастерок поднял изогнутый и пошел к своей стене.

И Павло с лопатой медленно пошел вниз.

Ме—едленно...

И оставаться Дэру страшно, и спускаться страшно. Спрятался за Кильгаса, стоит.

А Кильгас кладет — в аптеке так лекарства вешают: личностью доктор и не торопится ничуть. К Дэру он все спиной, будто его и не видал.

Подкрадывается Дэр к бригадиру. Где и спесь его вся.

— Что ж я пробабу скажу, Тюрин?

Бригадир кладет, головы не поворачивая.

— А скажете — б ы л о т а к. Пришли — так было.

Постоял еще Дэр. Видит, убивать его сейчас не будут. Прошелся тихонько, руки в карманы заложил.

— Э, Ща - восемьсот пятьдесят четыре, пробурчал. — Раствора почему тонкий слой кладешь?

На ком-то надо отыграться. У Шухова ни к перекосам, ни к швам не подкопаешься — так вот раствор тонок.

— Дозвольте заметить, — прошепелявил он, а с насмешечкой, — что если слой толстый сейчас ложить, весной эта ТЭЦ потечет вся.

— Ты — каменщик и слушай, что тебе десятник говорит, — нахмурился Дэр и щеки поднадул, привыка у него такая.

Ну, кой-где, может и тонко, можно бы и потолще, да ведь это если класть не зимой, а по-человечески. Надо ж и людей пожалеть. Выработка нужна. Да чего объяснять, если человек не понимает!

И пошел Дэр по трапу тихо.

— Вы мне подъемник наладьте! — бригадир ему со стены вослед. — Что мы — ишаки? На второй этаж шлакоблоки вручную!

— Тебе подъем оплачивают, — Дэр ему с трапа, но смирно.

— "На тачках"! А ну, возьмите тачку, прокатите по трапу. "На носилках" оплачивайте!

— Да что мне, жалко? Не проведет бухгалтерия "на носилках".

— Бухгалтерия! У меня вся бригада работает, чтоб четырех каменщиков обслужить. Сколько я заработаю?

Кричит бригадир, а сам кладет без отрыва.

— Раство ор! — кричит вниз.

— Раство—ор! — перенимает Шухов. Все подровняли на третьем ряду, а на четвертом и развернуться. Надо б шнур на рядок вверх перетянуть, да живет и так, рядок без шнура прогоним.

Пошел себе Дэр по полю, съежился. В контору, греться. Неприютно ему небось. А и думать надо, прежде чем на такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы ладил, ему б и хлопот ни о чем: горбить не требуют, пайка высокая, живет в кабине отдельной — чего еще? Так ум выставляет.

Пришли снизу, говорят: и прораб по электромонтажным ушел и монтер ушел — нельзя подъемника наладить.

Значит, ишачь!

Сколько Шухов производств повидал, техника эта или сама ломается, или эзки ее ломают. Бревнотаску ломали: в цепь дрын вставят и поднажмут. Чтоб отдохнуть. Балан то велят к балану класть, не разогнешься.

— Шлакоблоков! Шлакоблоков! — кричит бригадир, разошелся. И в мать их, и в мать, подбросчиков и подносчиков.

— Павло спрашивает, с раствором как? — снизу шумят.

— Разводить, как!

— Так разведенного пол-ящика!

— Значит, еще ящик!

Ну, заваруха! Пятый ряд погнали. То, скрючимшись, первый гнали, а сейчас уж под грудь, гляди! Да еще б их не гнать, как ни окон, ни дверей, глухих две стены на смычку и шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно.

— Восемьдесят вторая инструменты сдавать понесла, — Гончик докладает.

Бригадир на него только глазами сверкнул.

— Свое дело знай, сморчок! Таскай кирпичи!

Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький. А разогнались — лучше не надо. Теперь уж пятый начали — пятый и кончить. Подровнять.

Подносчики — как лошади запышенные. Кавторанг даже посерел. Ему ведь лет, кавторангу, сорок не сорок, а около.

Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы все ж поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза натягивает. Топ-топ им Шухов, топ-топ.

К стене теперь нагибаться не надо стало, а вот за шлакоблоками — подомай спину за каждым, да еще за каждой ложкой раствора.

— Ребята! Ребята! — Шухов теребит. — Вы бы мне шлакоблоки на стенку! на стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А Алешка:

— Хорошо, Иван Денисыч. Куда класть — покажите.

Безотказный этот Алешка, о чем его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у них.

По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось: об рельс звонят. Съем! Прихватил с раствором. Эх, расстарались!..

— Давай раствор! Давай раствор! — кричит бригадир.

А там ящик новый только заделан! Теперь — класть, выхода нет: если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик к свиньям разбивай, раствор окаме-

неет, его киркой не выколупнешь.

— Ну, не удай, братцы! — Шухов кличет.

Кильгас злой стал. Не любит авралов. А жмет и он, куда денешься!

Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись, и мастерок в руке. И тоже кладь. В пять мастерков.

Теперь только стыки успевай заделывать! Заране глазом умерит Шухов, какой ему кирпич на стык, и Алешке молоток подталкивает:

— На, теши мне, теши!

Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстро— той погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает. Сеньку налево перетолкнул, сам — направо, к главному углу. Сейчас, если стену напустить или угол завалить — это пропасть, завтра на полдня работы.

— Стой! — Павло от кирпича отбил, сам его поправляет. А оттуда, с угла, глядь — у Сеньки вроде прогибик получается. К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил.

Кавторанг припер носилки, как мерин добрый.

— Еще, — кричит, — носилок двое!

С ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был. Шухов-то его приберегал, а в чужих руках подрезался он. И шкуру с его сняли.

Солнце и закрайком верхним за землю ушло. Теперь уж и без Гопчика видать: не только все бригады инструмент отнесли, а валом повалил народ к вахте. (Сразу после звонка никто не выходит, дурных нет мерзнуть там. Сидят все в обогревалках. Но настает такой момент, что сговариваются бригадиры, и все бригады вместе сыпят. Если не договориться, так это ж такой злоупорный народ, арестанты, — друг друга пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть).

Опамятовался и бригадир, сам видит, что перепоздился. Уж инструментальщик, наверно, его в десять матов обкладывает.

— Эх, — кричит, — дерьма не жалко! Подносчики! Катите вниз, большой ящик выскребайте, и что неберете — отнесите в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтоб не видно! А ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я тебе с Гопчиком три мастерка дошлю, вот эту пару носилок последнюю выложим.

Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. Подносчики, подбросчики — все убегли вниз в растворную, делать им больше тут нечего. Остались сверху каменщиков трое — Кильгас, Клевшин да Шухов. Бригадир ходит, обсматривает, сколько выложили. Доволен.

— Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуемника.

Шухов видит — у Кильгаса в корытце мало осталось. Тужит Шухов — в инструменталке бригадира бы не ругали за мастерки.

Слышь, ребята, — Шухов доник, мастерки то несите Гопчику, мой — несчитанный, сдавать не надо, я им доложу.

Смеется бригадир.

— Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет!

Смеется и Шухов. Кладет.

Унес Кильгас мастерки. Сенька Шухову шлакоблоки подсовывает, раствор Кильгасов сюда в корытце перевалили.

Побежал гопчик через все поле к инструменталке, Павла догонять. И 104-я сама пошла через поле, без бригадира. Бригадир — сила, но конвой — сила посильней. Перепишут опоздавших — и в кондей.

Грозно сгустело у вахты. Все собрались. Кажись, что и конвой вышел — пересчитывают.

(Считают два раза при выходе: один раз при закрытых воротах, чтоб знать, что можно ворота открыть; второй раз — сквозь открытые ворота пропуская. А если помещается еще не так — и за воротами считают.)

— Драть его в лоб с раствором! — машет бригадир. — Выкидывай его через стенку!

— Иди, бригадир! Иди, ты там нужен! — (Зовет Шухов его Андрей Прокофьевичем, но сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся. Не то чтоб думал так: "Вот я сравнялся", а просто чует, что так.) И шутит вслед бригадира, широким шагом сходящему по трапу: — Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь — уж и съем!

Остались вдвоем с глухим. С этим много не поговоришь, да с ним и говорить незачем: он всех умней, без слов понимает.

Шлеп раствор! Шлеп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок. .

Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули.

Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!

— Кончили, мать твою за ногу! — Сенька кричит. — Айда!

Носилки схватил — и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз - ватерпас! Ровно! Еще рука не старится.

Побежал по трапу.

Сенька — из растворной и по пригорку бегом.

— Ну! Ну! — оборачивается.

— Беги, я сейчас! — Шухов машет.

А сам — в растворную. Мастерка так просто бросить нельзя. Может, завтра Шухов не выйдет, может, бригаду на Соцгородок затурнут, может, сюда еще полгода не попадешь — а мастерок пропадай? З а н а ч и т ь так заначить!

В растворной все печи погашены. Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все, недосчитаются его одного на вахте, и бить будет конвой.

А все ж зырь зырь, довидел камень здоровый в углу, отвалил его, под него мастерок и накрыл. Порядок!

Теперь скорей Сеньку догонять. А он отбежал шагов на сто, дальше не идет. Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе.

Побежали вровень — маленький и большой. Сенька на полторы головы выше Шухова, да и голова-то сама у него экая здоровая уродилась

Есть же бездельники — на стадионе доброй волей наперегонки бегают. Вот так бы их погонять, чертей, после целого дня рабочего, со спиной, еще не разогнутой, в рукавицах мокрых, в валенках стоптанных — да по холоду.

Запалились, как собаки бешеные, только слышно: хы-хы! хы-хы!

Ну, да бригадир на вахте, объяснит же.

Вот прямо на толпу бегут, страшно.

Сотни глоток сразу как заулюлюкали: и в мать их, и в отца и в рот, и в нос, и в ребро. Как пятьсот человек на тебя разъярятся — еще б не страшно!

Но главное — конвой как?

Нет, конвой ничего. И бригадир тут же, в последнем ряду. Объяснил, значит, на себя вину взял.

А ребята орут, а ребята матюгаются! Так орут — даже Сенька многое услышал, дух перевел да как заверпет со своей высоты! Всю жизнь молчит ну и как гахнет! Кулаки поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кой-кто.

— Эй, сто четвертая! Так он у вас не глухой? — кричат. — Мы проверяли.

Смеются все. И конвой тоже.

— Разобраться по пять!

А ворот не открывают. Сами себе не верят. Подали толпу от ворот назад. (К воротам все прилипли, как глупые, будто от того быстрей будет.)

— Р-разобраться по пять! Первая! Вторая! Третья!..

И как пятерку назовут, та вперед проходит метров на несколько. Отпыхался Шухов пока, оглянулся — а месяц-то, батюшки, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал. Вчера об эту пору выше много он стоял.

Шухову весело, что все сошло гладко, кавторанга под бок бьет и закидывает:

— Слышь, кавторанг, а как по науке вашей — старый месяц куда потом девается?

— Как куда? Невежество! Просто не виден!

Шухов головой крутит, смеется:

— Так если не виден — откуда ж ты знаешь что он есть?

— Так что ж, по-твоему, — дивится капитан, — каждый месяц луна новая?

— А что чудного? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в четыре недели можно?

— Тьфу! — плюнул капитан. — Еще ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда ж старый девается?

— Вот я ж и спрашиваю тебя — куда? — Шухов зубы раскрыл.

— Ну? Куда?

Шухов вздохнул и поведал, шепелявя чуть:

— У нас так говорили: старый месяц бог на звезды крошит.

— Вот дикари! — Капитан смеется. — Никогда не слыхал! Так ты что ж, в бога веришь, Шухов?

— А то? — удивился Шухов. — Как громыхнет — пойди не поверь!

— И зачем же бог это делает?

— Чего?

— Месяц на звезды крошит — зачем?

— Ну, чего не понять! Шухов пожал плечами. — Звездыто от времени падают, пополнять нужно.

— Поверпись, мать... — конвой орет. — Разберись!

Уж до них счет дошел. Прошла пятерка двенадцатая пятой сотни, и их двое сзади — Буйновский да Шухов.

Конвой сумутится, толкует по дощечкам счетным. Не хватает! Опять у них не хватает. Хоть бы считать-то умели!

Насчитали четыреста шестьдесят два, а должно быть, толкуют, четыреста шестьдесят три.

Опять всех оттолкали от ворот (к воротам снова притиснулись) — и ну:

— Р-разобраться по пять! Первая! Вторая!

Эти пересчеты ихние тем досадливы, что время уходит уже не казенное, а свое. Это пока еще степью до лагеря допрешься да перед лагерем очередь на шмон выстоишь! Все объекты бегма бегут, друг перед другом расстарываются, чтоб раньше на шмон и, значит, в лагерь раньше юркнуть. Какой объект в лагерь первый придет, тот сегодня и княжествует: столовая его ждет, на посылки он первый, и в камеру хранения первый, и в индивидуальную кухню, в КВЧ за письмами или в цензуру свое письмо сдать, в санчасть, в парикмахерскую, в баню везде он первый.

Да бывает, конвою тоже скорее нас сдать — да к себе в лагерь. Солдату тоже не разгуляешься: дел много, времени мало.

А вот не сходится счет их.

Как последние пятерки стали перепускать, померещилось Шухову, что в самом конце трое их будет. А нет, опять двое.

Счетчики к начкару, с дощечками. Толкуют. Начкар кричит:

— Бригадир сто четвертой!

Тюрин выступил на полшага:

— Я.

— У тебя на ТЭЦ никого не осталось? Подумай.

— Нет.

— Подумай, голову оторву!

— Нет, точно говорю.

А сам на Павла косится — не заснул ли кто там, в растворной?

— Ра-а-азберись по бригадам! — кричит начкар.

А стояли по пятеркам как попало, кто с кем. Теперь затолкались, загудели. Там кричат: "Семьдесят шестая — ко мне!" Там: "Тринадцатая! Сюда!" Там: "Тридцать вторая!"

А 104-я как сзади всех была, так и собралась сзади. И видит Шухов: бригада вся с руками порожними, до того заработались, дурни, что и щепок не подсобрали. Только у двоих вязаночки малые.

Игра эта идет каждый день: перед съемом собирают работяги щепочек, палочек, дранки ломаной, обвяжут тесемочкой тряпичной или веревочкой худой и несут. Первая облава — у вахты прораб или из десятников кто. Если стоит, сейчас велит все кидать (миллионы уже через трубу спустили, так они щепками наверстать думают). Но у работяги свой расчет: если каждый из бригады хоть по чутку палочек принесет, в бараке теплей будет. А то дают дневальным на каждую печку по пять килограмм угольной пыли, от нее тепла не дождешься. Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче, да суют их себе под бушлат. Так прораба и минуют.

Конвой же здесь, на объекте, никогда не велит дрова кидать: конвою тоже дрова нужны, да нести самим нельзя. Одно дело — мундир не велит, другое — руки автоматами заняты, чтобы по нас стрелять. Конвой как к лагерю подведет, тут и скомандует: "От такого до такого ряда бросить дрова вот сюда". Но берут по-божески и для лагерных надзирателей оставить надо, и для самих зэков, а то вовсе носить не будут.

Так и получается: носи дрова каждый зэк и каждый день. Не знаешь, когда донесешь, когда отымут.

Пока Шухов глазами рыскал, нет ли где щепочек под ногами подсобрать, а бригадир уже всех счел и доложил начкару:

— Сто четвертая — вся!

И Цезарь тут, от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Наработался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадался дать.

Дает Цезарь и закурить. Он в бригаде одного кавторанга и придерживается, больше ему не с кем душу отвесть.

— В тридцать второй человека нет! В тридцать второй! — шумят все.

Улупил помощник бригадира 32-й и еще с ним парень один — туда, к авторемонтным, искать. А по толпе: кто? да что? — спрашивают. И дошло до Шухова: нету молдавана маленького чернявого. Какой же это молдаван? Не тот ли молдаван, что, говорят, шпионом был румынским, настоящим шпионом?

Шпионов — в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, сморошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион.

А тот молдаван — настоящий.

Начкар как глянул в список, так и почернел весь. Ведь если шпион сбежал — это что начкару будет?

А толпу всю и Шухова зло берет? Ведь это что за стерва, гад, падаль, паскуда, загребанец? Уж небо темно, свет, считай, от месяца идет, звезды вон, мороз силу ночную забирает — а его, пащенка, нет! Что, не наработался, падло? Казенного дня мало, одиннадцать часов от света до света? Прокурор добавит, подожди!

И Шухову чудно, чтобы кто-то так мог работать, звонка не замечая.

Шухов совсем забыл, что сам он только что так же работал, — и досадовал, что слишком рано собираются к вахте. Сейчас он зяб со всеми, и лютел со всеми, и еще бы, кажется, полчаса подержи их этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе — разодрали б, как волки теленка!

Вот когда стал мороз забирать! Никто не стоит, — или на месте переступает, или ходит два шага вперед, два назад.

Толкуют люди — мог ли убежать молдаван? Ну, если днем еще убег — другое дело, а если схоронился и ждет, чтобы с вышек охрану сняли, не дождется. Если следа под проволокой не осталось, где уполз, — трое суток в зоне не разыщут и трое суток будут на вышках сидеть. И хоть неделю — тоже. Это уж их устав, старые арестанты знают. Вообще, если кто бежал — конвою жизнь кончается, гоняют их безо сна и еды. Так иногда разъярятся — не берут беглеца живым.

Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табочок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да... Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь?

— Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...

—А-а-а! —завопили зэки. —У-у-у!

Увидели: из авторемонтных три фигурки выскочило, — значит, с молдаваном.

— У-у-у! — люлюкает толпа от ворот.

А как те ближе подбежали, так:

— Чу-ма-а! Шко-одник! Шушера! Сука позорная! Мерзотина! Стервоза!

И Шухов тоже кричит:

— Чу-ма!

Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у пятисот человек отнял!

Вобрал голову, бежит, как мышонок.

— Стой! — конвой кричит. И записывает: — Кэ-четыреста шестьдесят. Где был?

А сам подходит и прикладом карабин поворачивает.

Из толпы все кричит:

— Сволочь! Блевотина! Паскуда!

А другие, как только сержант стал карабин прикладом оборачивать, затихли.

Молчит молдаван, голову нагнул, от конвоя пятится. Помбригадир 32-й выступил вперед:

— Он, падло, на леса штукатурные залез, от меня прятался, а там угрелся и заснул.

И по захрястку его кулаком! И по холке!

А тем самым отогнал от конвоира.

Отшатнулся молдаван, а тут мадьяр выскочил из той же 32-й да ногой его под зад, да ногой под зад!

Это тебе не то, что шпионить. Шпионить и дурак может. У шпиона жизнь чистая, веселая. А попробуй в каторжном лагере оттянуть десяточку на общих!

Опустил конвоир карабин.

А начкар орет:

— А-тойди от ворот! Раз-зобраться по пять!

Вот собаки, опять считать! Чего ж теперь считать, как и без того ясно? Загудели зэки. Все зло с молдавана на конвой переметнулось. Загудели и не отходят от ворот.

— Что-о? — начкар заорал. — На снег посадить? Сейчас посажу. До утра держать буду!

Ничего мудрого, и посадит. Сколь раз сажали. И клали даже: "Ложись! Оружие к бою!" Бывало это все, знают зэки. И стали легонько от ворот оттрагивать.

— Ат-ходи! Ат-ходи! — понуждает конвой.

— Да и чего, правда, к воротам-то жметесь, стервы? — задние на передних злятся. И отходят под натиском.

— Ра-зобраться по пять! Первая! Вторая! Третья!

А уж месяц в силу полную светит. Просветлился, багровость с него сошла. Поднялся уж на четверть добрую. Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый! Жизнь проклятая!

Передние кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть — в пятерке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит.

Показалось было Шухову, что в последней пятерке их четверо останется. Обомлел со страху: лишний! Опять пересчитывать! А оказалось, Фетюков, шакал, у кавторанга окурок достреливал, зазевался, в свою пятерку не переступил вовремя, и тут вышел вроде лишний.

Помначкар со зла его по шее, Фетюкова.

Правильно!

В последней три человека. Сошлось, слава тебе господи!

— А-тайди от ворот! — опять конвой понуждает.

Но в этот раз зэки не ворчат, видят: выходят солдаты из вахты и оцепляют плац с той стороны ворот.

Значит, выпускать будут.

Десятников вольных не видать, прораба тоже, несут ребятишки дрова.

Распахнули ворота. И уж там, за ними, у переводин бревенчатых, опять начкар и контролер:

— Пер-рвая! Вторая! Третья!..

Еще раз если сойдется — снимать будут часовых с вышек.

А от вышек дальних вдоль зоны хо-го сколько топать! Как последнего зэка из зоны выведут и счет сойдется — тогда только по телефону на все вышки звонят: сойти! И если начкар умный — тут же и трогает, знает, что зэку бежать некуда и что те, с вышек, колонну нагонят. А какой начкар дурак — боится, что ему войска не хватит против зэков, и ждет.

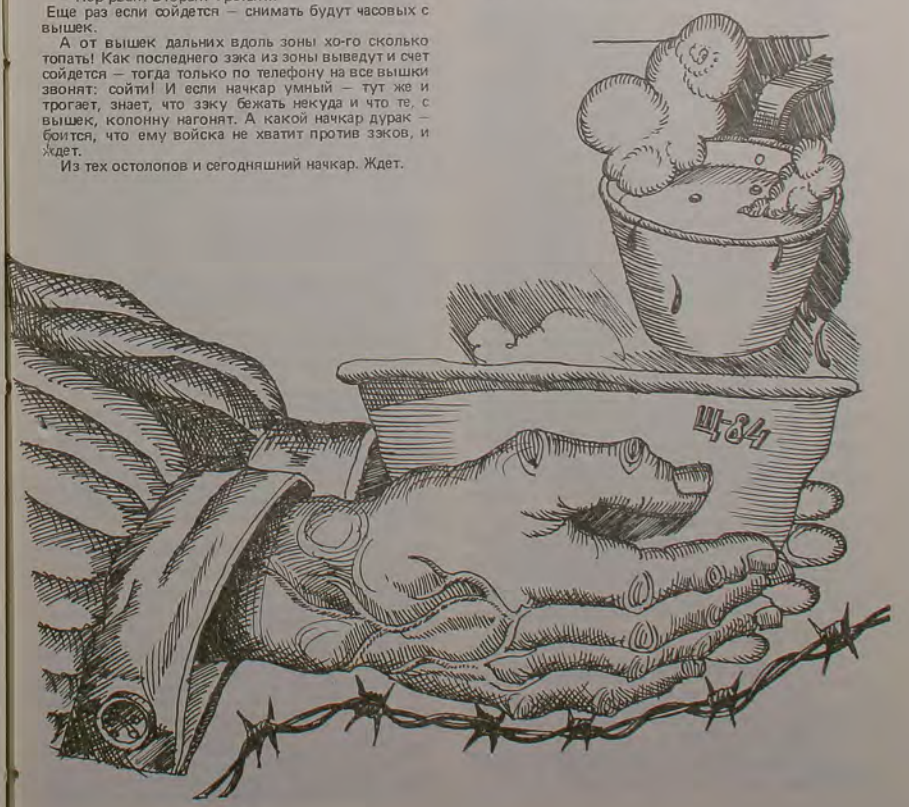
Из тех остолопов и сегодняшний начкар. Ждет.

Целый день на морозе зэки, смерть чистая, так озябли. И, после съема стоячи, целый час зябнуть. Но и все же их не так мороз разбирает, как зло: пропал вечер! Уж никаких дел в зоне не сделаешь.

— А откуда вы так хорошо знаете быт английского флота? — спрашивают в соседней пятерке.

— Да, видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них. И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок "В знак благодарности". Удивляюсь и проклинаю!..

Чудно Чудно вот так посмотреть: степь голая,



зона покинутая, снег под месяцем блещет. Конвоиры уже расстановились — десять шагов друг от друга, оружие на изготовку. Стадо черное этих зэков, и в таком же бушлате — Щ-311 — человек, кому без золотых погонов и жизни было не знато, с адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает.

Человека можно и так повернуть, и так ...

Ну, собрался конвой. Без молитвы прямо:

— Шагом марш! Побыстрей!

Нет уж, хрен вам теперь побыстрей! Ото всех объектов отстали, так спешить нечего. Зэки и не сговариваясь поняли все: вы нас держали — теперь мы вас подержим. Вам небось тоже к теплу хотца...

— Шире шаг! — кричит начкар. — Шире шаг, направляющий!

Хрен тебе — "шире шаг"! Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. Нам уже терять нечего, все равно в лагерь последние. Не хотел по-человечески с нами — хоть разорвись теперь от крику.

Покричал-покричал начкар "шире шаг!" понял: не пойдут зэки быстрей. И стрелять нельзя идут пятерками, колонной, согласно. Нет у начкара власти гнать зэков быстрей. (Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить — упарится, свалится.)

Так и пошли ровненько, аккуратно. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать — чего это он с утра еще в зоне не доделал? И вспомнил — санчасть! Вот диво-то, совсем про санчасть забыл за работой.

Как раз сейчас прием в санчасти. Еще б успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает. И температуры не намерял... Время тратить! Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат.

Не санчасть его теперь манила — а как бы еще к ужину добавить? Надежда вся была, что Цезарь посылку получит, уж давно ему пора.

И вдруг колонну зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дернулась, загудела — и вот уже хвостовые пятерки и середь них Шухов не стали догонять идущих впереди стали подбегать за ними. Пройдут шагов несколько и опять бегом.

Как хвост на холм вывалил, так и Шухов увидел: справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна, шла она нашей колонне наперекос и, должно быть увидав, тоже припустила.

Могла быть эта колонна только мехзавода, в ней человек триста. И им, значит, не повезло, задержали тоже. А их за что? Их, случается, и по работе задерживают: машину какую не доремонтировали. Да им-то попустя, они в тепле целый день.

Ну, теперь кто кого! Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только начкар покрикивает

— Не растягиваться! Сзади подтянуться! Подтянуться!

Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь? Неужто мы не подтягиваемся?

И кто о чем говорил, и кто о чем думал — все забыли, и один остался во всей колонне интерес:

— Обогнать! Обжать!

И как все смешалось, кислое с пресным, что уже конвой зэкам не враг, а друг. Враг же—та колонна, другая.

Развеселились сразу все, и зло прошло.

— Давай! Давай! — задние передним кричат.

Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка втемную. Тут нашей колонне торней стало, посеред улицы. И конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны!

Еще потому мехзаводцев обжать надо, что их на лагерной вахте особо долго шмоняют. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делаются на мехзаводе, в лагерь притекают оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводцев особо шмоняют. Поздней осенью, уж земля стуженая, им все кричали:

— Снять ботинки мехзавод! Взять ботинки в руки!

Так босиком и шмоняли.

А и теперь, мороз не мороз, ткнут по выбору:

— А ну-ка, сними правый валенок! А ты — левый сними!

Снимит валенок зэк и должен, на одной ноге пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти — мол, нет ножа.

А слышал Шухов, не знает — правда ли, неправда, — что мехзаводцы еще летом два волейбольных столба в лагерь принесли и в тех -то столбах были все ножи запрятаны. По десять длинных в каждом. Теперь их в лагере и находят изредка — там, здесь.

Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и деревообделочный и — выперли на прямой поворот к лагерной вахте.

— Ху гу-у! — колонна так и кликнет единым голосом.

На этот-то стык дорог и метили! Мехзаводцы — метров полтораста справа, отстали.

Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Заячья радость: мол, лягушки еще и нас боятся.

И вот — лагерь. Какой утром оставили, такой он и сейчас: ночь, огни по зоне над сплошным забором, и особо густо горят фонари перед вахтой, вся площадка для шмона как солнцем залита.

Но, еще не доходя вахты...

— Стой! — кричит помначкар. И, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко (им с автоматом не велят близко). — Все, кто справа стоят и дрова в руках, — брось дрова направо!

А снаружи-то их открыто и несли, ему всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки внутрь колонны, а соседи на них:

— Из-за тебя и у других отымут! Бросай по-хорошему!

Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство.

— Ма-арш! — кричит помначкар.

И пошли к вахте.

К вахте сходятся пять дорог, часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться.

Надзиратели уж на вахте грелись. Выходят, поперек дороги становятся.

— Рас-стегнуть бушлаты! Телогрейки расстегнуть!

И руки разводят. Обнимать собираются, шмоняя.

По бокам хлопать. Ну как утром, в общем.

Сейчас расстегивать не страшно, домой идем.

Так и говорят все "домой".

О другом доме за день и вспомнить некогда.

Уж голову колонны шмоняли, когда Шухов подошел к Цезарю и сказал:

— Цезарь Маркович! Я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь.

Повернул Цезарь к Шухову усы литые, черные, а сейчас белые снизу:

— Чего ж, Иван Денисыч, занимать? Может, и посылки не будет.

— Ну, а не будет мне лихо какое? Десять минут подожду, не придете — я и в барак.

(Сам Шухов думает: не Цезарь, так, может, кто другой придет, кому место продать в очереди.)

Видно, истомился Цезарь по посылке:

— Ну ладно, Иван Денисыч, беги, занимай. Десять минут жди, не больше.

А уж шмон вот-вот, достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего, подходит он безбоязно. Расстегнул бушлат не торопясь и телогрейку тоже распустил под брезентовым пояском.

И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настороженность восьми лет сидки вошла в привычку. И он сунул руку в брючный наколенный карман — проверить, что там пусто, как он и знал хорошо.

Но там была ножовка, кусок ножовочного полотна! Ножовка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь.

Он не собирался ее проносить, но теперь, когда уже донес, — бросать было жалко край! Ведь ее отточить в маленький ножичек — хоть на сапожный лад, хоть на портновский!

Если б он думал ее проносить, он бы придумал хорошо и как спрятать. А сейчас оставалось всего два ряда перед ним, и вот уже первая из этих пятерок отделилась и пошла на шмон.

И надо было быстрее ветра решать: или, затенясь последней пятеркой, незаметно сбросить ее на снег (где ее следом найдут, но не будут знать чья), или нести!

За ножовку эту могли дать десять суток карцера,
Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб!
Бросать было жалко.
И Шухов сунул ее в ватную варежку.

Тут скомандовали пройти на шмон следующей пятерке.

И на полном свету их осталось последних трое: Сенька, Шухов и парень из 32-й, бегавший за молдаваном.

Из-за того, что их было трое, а надзирателей стояло против них пять, можно было словчить — выбрать, к кому из двух правых подойти. Шухов выбрал не молодого румяного, а седоусого старого. Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если б захотел, но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы горючей.

А тем временем Шухов обе варежки, с ножовкой и пустую, снял с рук, захватил их в одну руку (варежку пустую вперед оттопыря), в ту же руку схватил и веревочку-опояску, телогрейку расстегнул дочиста, полы бушлата и телогрейки угодливо подхватил вверх (никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь — на, бери меня!) — и по команде пошел к седоусому.

Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул — нет ничего, промял в руках полы телогрейки и бушлата — тоже нет, и, уже отпуская, для верности смял в руке еще выставленную варежку Шухова — пустую.

Надзиратель варежку сжал, а Шухова внутри клешнями сжало. Еще один такой жим по второй варежке — и он г о р е л в карцер на триста грамм в день, и горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет там, оголодает и трудно ему будет вернуться в то жилистое не голодное и не сытое состояние, что сейчас.

И тут же он остро, возносчиво помолился про себя: "Господи! Спаси! Не дай мне карцера!"

И все эти думки пронеслись в нем, только пока надзиратель первую варежку смял и перенес руку, чтоб так же смять вторую, заднюю (он смял бы их зараз двумя руками, если бы Шухов держал варежку в разных руках, а не в одной). Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорей освободиться, крикнул конвой:

— Ну, подводи мехзавод!

И седоусый надзиратель, вместо того чтобы взяться за вторую варежку Шухова, махнул рукою — проходи, мол. И отпустил.

Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по пять меж двумя долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновязь базарную и образующими как бы загон для колонны. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз, с благодарностью, потому что некогда было, да уж и некстати.

Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова все, брошенные их колонной до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты.

Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз.

Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за четыреста шестьдесят три головы, поговорил с Пряхой, помощником Волковского, и тот крикнул:

— Кэ-четыреста шестьдесят!

Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он так же все голову держал поникшей и в плечи вобранной.

— Иди сюда! — показал ему Пряха вокруг коновязи.

Молдаван обошел. И велено ему было руки взять назад и стоять тут.

Значит, будут паять ему попытку к побегу. В БУР возьмут.

Не доходя ворот, справа и слева за загоном, стали два вахтера, ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда:

— Раз-зберись по пять: ("Отойди от ворот" тут не надо: всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, зэки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить.) Первая! Вторая! Третья!..

Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более

всего обветрен, вымерз, выголодал — и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень, — разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни.

Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, — звонки, кованы, размашисты па-сторонись!

Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков — страшно.

Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, как в полседьмого утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще меж двух прясел прошли — и теперь рассыпайся кто куда.

Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит:

— Бригадиры! В ППЧ!

Шухов бросился мимо БУРа, меж бараков — и в посылочную. А Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно, в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка.

На бумаге в лагере меньше пишут, а больше — на фанере. Оно как-то тверже, вернее на доске. На ней и вертухаи и нарядчики счет головам ведут. А назавтра соскоблил — и снова пиши. Экономия.

Кто в зоне остается, еще так ш е с т е р я т: прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут, на линейке, сразу и номер сообщают. Много не много, а сигаретку и такому дадут.

Добежал Шухов до посылочной — при бараке пристройка, а к той пристройке еще прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод ходит, — а в нем все ж будто обжитей, ведь под крышей.

В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек пятнадцать впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тэцовской колонны пошел список смотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все. Им за посылкой как бы не второй раз приходить, завтра с утра.

Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там, за дверью (сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам), вскрывают ящик посылочный топориком, надзиратель все своими руками вынимает, просматривает. Что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулачком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов, сладостей, подковинней что или колбаса рыбка, так надзиратель и откусит. (А качни права попробуй — сейчас придерется, что запрещено, а что не положено — и не выдаст. С надзирателя начиная кто посылку получает, должен давать, давать и давать.) А когда посылку кончат шмонять, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе все в торбочку, хоть в полу бушлатную — и отваливай, следующий. Так заторопят иного, что он и забудет чего на стойке. За этим не возвращайся. Нету.

Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получал посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятишек.

Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет с семьи их не потянешь. Так лучше без них.

Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или бараке получал посылку (то есть почти каждый день), щемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, — он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут:

— Шухов! Да что ж ты не идешь? Тебе посылка!

Но никто не прибегал...

И вспомнить деревню Темгенево и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний.

Сейчас, стоя среди тех, кто тешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усластиться сахарком кружку. Шухов держался на одном только желании: успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имела против горячей.

Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того десять минут и пообещался Шухов ждать.

Тут, в очереди, услышал Шухов и новость: воскресенья опять не будет на этой недели, опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так: если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят. Так он и ждал, а услышал — повело всю душу, перекривило: воскресенье-то кровное кому не жалко? Ну да правильно в очереди говорят: выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут — или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было, или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего, им, наверно, досаждает, если зэк спит после завтрака.

Очередь, хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, — парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у п р и д у р н и меж собой спайка и с надзирателями тоже.

Оставалось все же впереди Шухова человек десять, и сзади семь человек набежало — и тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. (Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтовые посдирали и дали лагерные, свинячьего меха.)

Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудаком в очках, который в очереди все газету читал:

—А-а! Петр Михалыч!

И — расцвели друг другу, как маки. Тот чудак:

— А у меня "Вечерка" свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

— Да ну?! — И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать?

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..

Они москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их - все равно как латышей или румын.

Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны, на месте.

— Так я это... Цезарь Маркович... — шепелявит Шухов. — Может, пойду?

— Конечно, конечно. — Цезарь усы черные от газеты поднял. — Так, значит, за кем я? Кто за мной?

Растолковал ему Шухов, кто за кем и, не ждя, что Цезарь сам несчет ужина вспомнит, спросил:

— А ужин вам принести?

(Это значит - из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя, на то много было приказов. Ловят, и на землю из котелка выливают и в карцеры сажают и все равно носят и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет.)

Спросил, принести ли ужин, а про себя думает: „Да неужто ты шквалыгой будешь? Ужина мне не подаришь? Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая! ..''

— Нет, нет, — улыбнулся Цезарь, — ужин сам ешь, Иван Денисыч!

Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши — и по зоне, и по зоне!

Снуют зэки во все концы! Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда и там дожидался и назад — тоже строем.

Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему не смел. Надзиратели хватали одиночек, и номера писали, и в БУР таскали — а поломался приказ. Натихую, как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу — так не посылать с ним команды! Или тебе за продуктами своими в каптерку надо, а я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал, газеты читать, да кто ж с ним пойдет? А тому валенки на починку, а тому в сушилку, а тому из барака в барак просто (из барака-то в барак пуще всего запрещено!) — как их удержишь?

Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого.

По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке — галдеж: у кого-то пайку днем увели, на дневальных кричат, и дневальные кричат. А угол 104-й пустой.

Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, а тут матрасы не переворочены, шмона днем в бараках не было.

Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат — наверх, варежки с ножовкой — наверх, щупанул матрас в глубину — утренний кусок хлеба на месте! Порадовался, что зашил.

И бегом — наружу! В столовую!

Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись. Только зэки брели навстречу, споря о пайках.

На дворе все светлей в сиянии месячном. Фонари везде поблекли, а от бараков — черные тени. Вход в столовую через широкое крыльцо с четырьмя ступенями, и то крыльцо сейчас — в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радужно светятся лампочки, от мороза, ли, от грязи.

И еще был приказ начальника лагеря строгий: бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был: дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не всходить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит.

Дневальным по столовой цепко держался Хромой. Хромоту свою в инвалидность провел, а дюжий, стерва. Завел себе посох березовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет. А не всякого. Быстрометчив Хромой и в темноте в спину опознает — того не ударит, кто ему самому в морду даст. Прибитых бьет. Шухова раз гвозданул.

Название — „дневальный''. А разобраться — князь! — с поварами дружит!

Сегодня не то бригады поднавалили все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце Хромой, шестерка Хромого и сам завстоловой. Без надзирателей управляются, полканы.

Завстоловой — откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нем избывают, что ходит он — как на пружинах дергается, будто ноги в нем пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый, на том жилете на груди — маленький номерок, как марка почтовая, — Волковому уступка, а на спине и такого номера нет Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор.

Беда теперь будет, если 104-я уже прошла, — хромой весь лагерь знает в лицо и при заве ни за что с чужой бригадой не пустит, нарочно изгалится.

Тоже и за спиной Хромого через перила крылечные иногда перелезают, лазил и Шухов. А сегодня при заве не перелезешь — съездит по салазкам пожалуй, так, что в санчасть потащишься.

Скорей, скорей к крыльцу, средь черных всех одинаковых бушлатов дознаться во теми, здесь ли еще 104-я.

А тут как раз поднаперли, поднаперли бригады (деваться некуда — уж отбой скоро!) и как на крепость лезут — одну, вторую, третью, четвертую ступеньку взяли, ввалили на крыльцо!

— Стой, ...яди! — Хромой орет и палку поднял на передних. — Осади! Сейчас кому-то расквашу!

— Да мы при чем? — передние орут. — Сзади толкают!

Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко противятся, думают в столовую влететь.

Тогда Хромой перехватил свой посох поперек грудей, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти как кинется на передних! И помощник Хромого, шестерка, тоже за тот посох схватился, и завстоловой сам не побрезговал руки марать — тоже.

Двинули они круто, а силы у них немереные, мясо едят — отпятили! Сверху вниз опрокинули передних на задних, на задних, прямо повалили, как снопы.

— Хромой гребаный... в лоб тебя драть!... — кричат из толпы но скрываясь. Остальные упали молча, подымаются молча, поживей, пока их не затоптали.

Очистили ступеньки. Завстоловой отошел по крыльцу, а Хромой на ступеньке верхней стоит и учит:

— По пять разбираться, головы бараньи, сколько раз вам говорить? Когда нужно, тогда и пущу!

Углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сенька Клевшина голову, обрадовался жутко, давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули — ну, нет сил, не пробьешься.

— Двадцать седьмая! — Хромой кричит. — Проходи!

Выскочила 27-я по ступенькам да скорей к дверям. А за ней опять поперлись все по ступенькам, и задние прут. И Шухов тоже прет силодером. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает.

— Опять, падлы? — Хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на других.

Очистил снова.

Видит Шухов снизу — взошел рядом с Хромым Павло. Бригаду сюда вздит он, Тюрин в толкотню эту не ходит пачкаться.

— Раз-берись по пять, сто четвертая! — Павло сверху кричит. — А вы посуньтесь, друзья!

Хрен тебе друзья посунутся!

— Да пусти ж ты, спина! Я из той бригады! — Шухов трясет.

Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду.

Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную баланду.

Тогда Шухов иначе: слева к перилам прихватился, за столб крыльчный руками перебрал и — повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колена ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул: стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждет. Увидели его свои ребята, руку протянули.

Завстоловой, уходя, из дверей оглянулся:

— Давай, Хромой, еще две бригады!

— Сто четвертая! — Хромой крикнул. — А ты куда, падло, лезешь? — И посохом по шее того, чужого.

— Сто четвертая! — Павло кричит, своих пропускает.

— Фу-у! — выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, — за подносами, подносы свободные искать.

В столовой как всегда — пар клубами от дверей, за столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе, меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит: Щ-208 несет на подносе пять мисок всего, значит — последний поднос в бригаде, иначе бы — чего ж не полный?

Настиг его и в ухо ему сзади наговаривает:

— Браток! Я на поднос — за тобой!

— Да там у окошка ждет один, я обещал...

— Да лапоть ему в рот, что ждет, пусть не зевает!

Договорились.

Донес тот до места, разгрузил, Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам щуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов — поднос под мышку и бегом к раздаче.

Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался:

— Иван Денисович! — И переднего помбрига 27-й отталкивает: — Пусти! Чего зря стоишь? У мэнэ подносы!

Глядь, и Гопчик, плутишка, поднос волокет.

— Они зазевались, — смеется, — а я утянул!

Из Гопчика правильный будет лагерник. Еще года три подучится подрастет — меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат.

Второй поднос Павло велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку (тоже за плен десятку получил). Гопчика послал приискивать, на каком столе "вечерять" кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждет.

— Сто четвертая! — Павло докладает в окошко.

Окошек всего пять: три раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится (больных язвенных человек десять, да по блату бухгалтерия вся), еще одно — для возврата посуды (у того окна дерутся, кто миски лижет). Окошки невысоко — чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видно и черпаки.

Руки у повара белые, холеные, а волосатые, здоровы. Чистый боксер, а не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отметил:

— Сто четвертая — двадцать четыре!

Пантелеев-то привыкся в столовую. Ничего он не болел, сука.

Повар взял здоровый черпачище литра на три и им — в баке мешать, мешать, мешать (бак перед ним новозалитый, недалеко до полна, пар так и валит). И, перехватив черпак на семьсот пятьдесят грамм, начал им, далеко не окуная, черпать.

— Раз, два, три, четыре...

Шухов приметил, какие миски набрать, пока еще гущина на дно бака не осела, и какие по-холостому — жижа одна. Уставил на своем подносе десять мисок и понес. Гопчик ему машет от вторых столбов:

— Сюда, Иван Денисыч, сюда!

Миски нести — не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы подносу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает:

— Эй, ты, Хэ — девятьсот двадцать!.. Поберегись, дядя!.. С дороги, парень!

В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронесть, а тут — десять. И все же на освобожденный Гопчиком конец стола поставил поднос мягонько, и свежих плесков на нем нет. И еще смекнул, каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые две миски густые.

И Ермолаев десять поднес. А Гопчик побежал, и с Павлом четыре последних принесли в руках.

Еще Кильгас принес хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят — кому двести, кому триста, а Шухову — четыреста. Взял себе четыреста, горбушку и на Цезаря десять серединку.

Тут и бригадники со всей столовой стали стекаться — получить ужин, а уж хлебай, где сядешь. Шухов миски раздает, запоминает, кому дал и свой угол подноса блюдет. В одну из мисок густых опустил ложку — занял, значит. Фетюков свою миску из первых взял и ушел: расчел, что в бригаде сейчас не разжившешься, а лучше по всей столовой походить-пошакалить, может, кто не доест (если кто не доест и от себя миску отодвинет — за нее как корчуны хватаются, иногда сразу несколько).

Подсчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул Шухов миску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий котелок с крышкой: его под бушлатом можно пронесть к груди прижав.

Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чем не было. Святые минуты настали.

Снял Шухов шапку, на колена положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыбка попадается. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром: утром зэка надо накормить, чтоб он работал, а вечером и так уснет.

Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его все трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живет зэк!

Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст бог, кончится!

С той и с другой миски жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил и еще ложкой выскреб. Так оно спокойней как-то, о второй миске не думать, не стеречь ее ни глазами, ни рукой.

Глаза освободились — на соседские миски покосился. Слева у соседа — так одна вода. Вот гады, что делают, свои же зэки!

И стал Шухов есть капусту с остатком жижи. Картошинка ему попалась на две миски одна — в Цезаревой миске. Средняя такая картошинка, мороженая, конечно, с твердинкой и подслащенная. А рыбки почти нет, изредка хребтик оголенный мелькнет. Но и каждый рыбий хребтик и плавничок надо прожевать — из них сок высосешь, сок полезный. На все то, конечно, время надо, да Шухову спешить теперь некуда, у него сегодня праздник: в обед две порции и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради и в ужин остальные дела и отставить можно.

Разве к латышу сходить за табаком. До утра табаку может и не остаться.

Ужинал Шухов без хлеба: две порции, да еще с хлебом — жирно будет, хлеб на завтра пойдет. Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит.

Шухов доедал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было: за новым ничем он не охотился, а ел свое законное. И все ж он заметил, как прямо через стол против него освободилось место и сел старик высокий Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады, а в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-я-то и ходила сегодня на Соцгородок вместо 104-й и целый день без обогреву проволоку колючую тянула — сама себе зону строила.

Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отмечена была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стираную.

Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивши есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, встал, взял пайку, свою и Цезареву, и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там еще двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть.

Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к латышу. И, не занося хлеба в девятый он шажисто погнал в сторону седьмого барака.

Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо все было чистое. И звезды кой-где — самые яркие. Но на небо смотреть еще меньше было у Шухова времени. Одно понимал он — что мороз не отпускает. Кто от больных слышал, передавали: к вечеру ждут тридцать градусов, — к утру — до сорока.

Слыхать было очень издали: где-то трактор гудел в поселке, а в стороне шоссе экскаватор. И от каждой пары валенок, кто в лагере, где шел или перебегал, — скрип.

А ветру не было.

Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, рубль стакан, хотя на воле такой стакан стоил три рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было держать, мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копья (в Усть-Ижме хоть тридцать рублей в месяц Шухов получал). А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали все ровно, а зачисляли на лицевой счет. С лицевого счета в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты "Прима". Нравится товар, не нравится — а на

сколько заявление начальнику написал, на столько и накупай. Не купишь — все равно деньги пропали, ужони списаны.

К Шухову деньги приходили только от частной работы: тапочки сошьешь из тряпок давальца — два рубля, телогрейку вылатаешь — тоже по уговору.

Седьмой барак не такой, как девятый, не из двух больших половин. В седьмом бараке коридор длинный, из него десять дверей, в каждой комнате бригада, натыканс по семь вагонок в комнату. Ну, еще кабина под парашной, да старшего барака кабина. Да художники живут в кабине.

Зашел Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил, на откосину, и с соседом по-латышски горгочет.

Подсел к нему Шухов. Здравствуйте, мол. Здравствуйте, тот ног не спускает. А комната маленькая, все сразу прислушиваются — кто пришел, зачем пришел. Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет: ну, как живете, мол? Да ничего. Холодно сегодня. Да.

Дождался Шухов, что все опять заговорили (про войну в Корее спорят: оттого-де, что китайцы вступились, так будет мировая война или нет), наклонился к латышу:

– Самосад есть?

– Есть.

– Покажи.

Латыш ноги с откосины снял, спустил их в проход, приподнялся. Жила этот латыш, стакан как накладывает — всегда трусится, боится на одну закурку больше положить.

Показал Шухову кисет, вздержку раздвинул.

Взял Шухов щепотку на ладонь, видит: тот самый, что и прошлый раз, буроватый и резки той же. К носу поднес, понюхал — он. А латышу сказал:

– Вроде не тот.

– Тот! Тот! – рассердился латыш. – У меня другой сорт нет никогда, всегда один.

– Ну, ладно, – согласился Шухов, – ты мне стаканчик набей, я закурю, может, и второй возьму.

Он потому сказал н а б е й, что тот внатруску насыпает.

Достал латыш из-под подушки еще другой кисет, круглей первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик хотя пластмассовый, но Шуховым меренный, граненому равен.

Сыплет.

– Да ты ж пригнетай, пригнетай! – Шухов ему и пальцем тычет сам.

– Я сам знай! – сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет.

А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри в подкладочной вате ему одному ощутимую бумажку. И, двумя руками перетаскивая, перетаскивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил (уж и без того она длинновато сложена) и через дырочку вынул. Два рубля. Сталенькие, не хрустящие.

А в комнате орут:

–Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!

Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от п у з а. В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули.

Только некогда здесь много толковать...

– Эх, внатруску кладешь, – пожаловался Шухов.

– Ну на, на! – добавил тот щепоть сверху.

Шухов вытянул из нутряного карманчика свой кисет и перевалил туда самосад из стакана.

– Ладно, – решился он, не желая первую сладкую папиросу курить не бегу. – Набивай уж второй.

Еще попрепиравшись, пересыпал он себе и стакан, отдал два рубля, кивнул латышу и ушел.

А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе. Чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернется.

Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и г у ж е в а л с я над посылкой. Что он принес, разложено было у него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал прямой от лампы, а шуховским же верхним щитом перегораживался, и было там темновато.

Шухов нагнулся, вступил между койками кавторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой.

– Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

Он не сказал: "Ну, получили?" — потому, что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал: после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался.

Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке цезарской посылке, и, хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные закрыты, — этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал, что Цезарь получил колбасу, сгущенное молоко, толстую копченую рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье еще с другим запахом, сахар пиленый килограмма два и еще, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный, и еще, еще что-то.

И все это понял он за то короткое время, что сказал:

– Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный (продуктовую посылку получив, и всякий таким становится), махнул на хлеб рукой:

– Возьми его себе, Иван Денисыч!

Баланда да еще хлеба двести грамм — это был полный ужин и уж конечно полная доля Шухова от Цезаревой посылки.

И Шухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо растравишь, да попусту.

Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу — житуха! А те в матрасе, пусть еще полежат. Хорошо, что Шухов обоспел, зашил — из тумбочки вон в 75-й уперли — жалуйся теперь куда хочешь.

Иные так разумеют: посылочник — тугсй мешок, с посылочника рви! И разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед передачей и посылочники — те рады лишнюю кашу выслужить. И стреляют докурить. Надзирателю, бригадиру, а придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, ее неделю в списках не будет. А каптеру в камеру хранения, кому продукты те все сдаются, куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесет (и от всех, и от шмонов, и начальник так велит), – тому каптеру если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит, крыса, с чужими продуктами запершись, проверь его: А за услуги, вот как Шухову? А банщику, чтоб ему отдельно белье порядочное подкидывал, – сколько ни то, а дать надо? А парикмахеру, который его с б у м а ж к о й бреет (то есть бритву о бумажку вытирает, не об колено твое же голое), – много не много, а три-четыре сигаретки тоже дать? А в КВЧ, чтоб ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь денек з а к о с и т ь, в зону на боку полежать, – доктору поднести надо. А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как кавторанг с Цезарем, – как же не дать? Ведь он каждый кусок твой считает, тут и бессовестный не ужмется, даст.

Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не распаливает.

Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал ножовки кусок из рукавички, осмотрел и решил с завтрева искать камешек хороший и на том камешке затачивать ножовку в сапожный нож. Дня за четыре, если и утром и вечером посидеть, славный можно будет ножичек сделать, с кривеньким острым лезом.

А пока, и до утра даже, ножовочку надо припрятать. В своем же щите под поперечную связку загнать. И пока внизу кавторанга нет, значит, сору в лицо ему не насыплешь, отвернул Шухов с изголовья свой тяжелый матрас, набитый не стружками, а опилками, – и стал прятать ножовку.

Видели то соседи его по верху: Алешка-баптист, а через проход, на соседней вагонке — два братастоятца. Но этих Шухов не опасался.

Прошел по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слез своих не скрывая, прошел мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.

Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить.

Тут и кавторанг появился, веселый, принес в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что то за чай? Только что тепловодкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки — древесиной пропаренной и прелью. Это чай для простых работяг. Ну, а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок да сбегал в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраивается.

– Чуть пальцев не ожег под струей! – хвастает.

Там, внизу разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладет, Шухов закрыл матрас, чтоб не видеть и не расстраиваться. А опять без Шухова у них дела не идут – поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова, и моргает:

– Денисыч! Там... Д е с я т ь с у т о к дай!

Это значит, ножичек дай им складной, маленький. И такой у Шухова есть, и тоже он его в щите держит. Если вот палец в средней косточке согнуть, так

меньше того ножичек складной, а режет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам.

Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся.

Тоже вот и нож — заработок. За хранение его — ведь карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот может так: дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот.

Теперь Цезарь опять Шухову задолжал.

С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же он взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу: спасибо, мол.

Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу — брату своему что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в цигарку — попробовать, значит, что за шуховский табачок.

Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье! Шухов бы и сам попробовал, не какими-то часами там, в нутри своем, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверху, у себя на кровати, как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обметь снежная по потолку. Ночью продрогнешь, не пока сносно кажется.

Все это делал Шухов и хлеб помалу отламывать от духсотграммовки, сам же слушал обневолю, как внизу под ним, чай пья, разговорились кавторанг с Цезарем.

– Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот рыбца копченого. Колбасу берите.

– Спасибо, беру.

– Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!

– Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то еще пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Попадаю я раз в Архангельск...

Там стопл в половине барака от двухсот глоток, все же Шухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто. И еще приметил Шухов: вошел в барак надзиратель Курносенький — совсем маленький паренек с румяным лицом. Держал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно было, что он пришел не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал.

Курносенький сверился с бумажкой и спросил:

– Сто четвертая где?

– Здесь, – ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали.

– А бригадир где?

– Ну? – Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя.

– Объяснительные записки, кому сказано, написали?

– Пишут! – уверенно ответил Тюрин.

– Сдать надо было уже.

– У меня – малограмотные, дело нелегкое. (Это про Цезаря он и про кавторанга. Ну и молодец бригадир, никогда за словом не запнется.) Ручек нет, чернила нет.

– Надо иметь.

– Отбирают!

– Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить – и тебя посажу! – незло пообещал Курносенький. – Чтоб утром завтра до развода объяснитель-

ные были в надзирательской! И указать, что недозволенные вещи все сданы в каптерку личных вещей. Понятно?

— Понятно.

("Пронесло кавторанга!" — Шухов подумал. А сам кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)

— Теперь та-ак, — надзиратель сказал. — Ще — триста одиннадцать — есть у тебя такой?

— Надо по списку смотреть, — темнит бригадир.

— Рази ж их запомнишь, номера собачьи? (Тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)

— Буйновский — есть?

— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрыва.

Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает.

— Ты? Ну, правильно, Ще — триста одиннадцать. Собирайся.

— Ку-да?

— Сам знаешь.

Только вздохнул капитан да крякнул. Должно быть, темной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер.

— Сколько суток-то? — голосом упав, спросил он.

— Десять. Ну, давай быстрей!

И тут же закричали дневальные:

— Проверка! Проверка! Выходи на проверку!

Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке.

Оглянулся капитан — бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому ничего не забывает), и не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не сгрятал. А в руку брать — дело пустое, на шмоне тотчас и отберут.

Все ж, пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул.

— Ну, прощайте братцы — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем.

Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь? Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм: а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уже те в земле сырой.

Пока в бараке живешь — могись от радости и не попадайся.

— А ну, выходи, считаю до трех! — старший барака кричит. — Кто до трех не выйдет — номера запишу и гражданину надзирателю передам!

Старший барака — вот еще сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него один оторван в драке, а мордой — урка. Урка он и есть, статья уголовная, но меж других статей навесили ему пятьдесят восемь-четырнадцать, потому и в этот лагерь попал.

Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст — вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие.

Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную цигарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать еще от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру хранения. Покушать — отложить можно. А теперь — что вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочище на проверку выносить — смех! — в пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь — не ровен час, тяпнут, кто с проверки первый в барак вбежит. (В Усть-Ижме еще лютей законы были: там, с работы возвращаясь, бригатные впереди, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены.)

Видит Шухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. Сует колбасу и сало себе за пазуху — хоть с ними-то на проверку выйти, хоть их спасти.

Пожалел Шухов и научил:

— Сиди, Цезарь Маркович, до последнего, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. Вот так...

И убежал.

Сперва протискивался Шухов круто (цигарку свернутую обереган, однако, в кулаке). В коридоре же, общем для двух половин барака, и в сенях никто уже вперед не перся, зверехитрое племя, а облепили стены в два ряда слева и в два справа — и только проход посрединке на одного человека оставили пустой: проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут побудем. И так целый день на морозе, да сейчас лишних десять минут мерзнуть? Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я завтра!

В другой раз и Шухов так же жмется к стеночке. А сейчас выходит шагом широким да скалится еще:

— Чего испугались, придурня! Сибирского мороза не видели? Выходи на вольче солнышко греться! Дай, дай прикурить, дядя!

Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. "Вольче солнышко" — так у Шухова в краю ино месяц в шутку зовут.

Высок месяц вылез! Еще столько — и на самом верху будет! Небо белое, аж с сузеленью, звезды яркие да редкие. Снег белый блестит, бараков стены тож белые — и фонари мало влияют.

Вот у того барака толпа черная густеет — выходят строиться. И у другого вон. И от барака к бараку не так разговор гудет, как снег скрипит.

Со ступенек спустясь, стало лицом к дверям пять человек, и еще за ними трое. К тем трем во вторую пятерку и Шухов пристроился. Хлебца пожевав, да с папироской в зубах стоять тут можно. Хорош табак, не обманул латыш — и дерунок, и духовит.

Понемножку еще из дверей тянутся, сзади Шухова уже пятерки две-три. Теперь кто вышел, этих зло разбирает: чего те гады жмутся в коридоре, не выходят. Мерзни за них.

Никто из зэков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? Зэку только надо знать — скоро ли подъем? до развода сколько? до обеда? до отбоя?

Все ж говорят, что проверка вечерняя бывает в девять. Только не кончается она в девять никогда, шурудят проверку по второму да по третьему разу. Раньше десяти не уснешь. А в пять часов, толкуют, подъем. Дива и нет, что молдаван нынче перед съёмом заснул. Где зэк угреется, там и спит сразу. За неделю наберется этого сна недоспанного, так если в воскресенье не прокатят — спят вповалку бараками целыми.

Эх, да и повалили ж! повалили зэки с крыльца! — это старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их, зверей!

— Что? — кричат им первые ряды. — Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? Давно бы вышли — давно бы посчитали.

Выперли весь барак наружу. Четыреста человек в бараке — это восемьдесят пятерок. Выстроились все в хвост, спереди по пять строго, а там — шалманом.

— Разберись там, сзади! — старший барака орет со ступенек.

Хуб хрен, не разбираются, черти!

Вышел из дверей Цезарь, жмется — с поротом больной, за ним дневальных двое с той половины барака, двое с этой и еще хромой один. В первую пятерку они и стали, так что Шухов в третьей оказался. А Цезаря в хвост угнали.

И надзиратель вышел на крыльцо.

— Раз-зберись по пять! — хвосту кричит, глотка у него здоровая.

— Раз-зберись по пять! — старший барака орет, глотка еще здоровше.

Не разбираются, хуб хрен.

Сорвался старший барака с крыльца, да туда да матом, да в спины!

Но — смотрит: кого. Только смирных лупцует. Разобрались. Вернулся. И вместе с надзирателем:

— Первая! Вторая! Третья!..

Какую назовут пятерку — со всех ног, и в барак. На сегодня с начальником рассчитались!

Рассчитались бы, если без второй проверки. Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают, тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и натаскивают, да без толку.

Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было, обувь на ночь у всех в бараке оставалась — так вторую, и третью, и четвертую проверку на улицу выгоняли. Уж не одевались, а так, в одеяла укутанные выходили. С этого года сушилки построили, не на всех, но через два дня на третий каждой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь вторые разы стали считать в бараках: из одной половины в другую перегоняют.

Шухов вбежал хоть и не первый, но с первого глаз не спуская. Добежал до Цезаревой койки, сел. Сорвал с себя валенки, взлез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои на печку уставил. Тут — кто раньше займет. И — назад, к Цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, чтобы Цезарев мешок из-под изголовья не дернули, другим — чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует.

— Эй! — крикнуть пришлось, — ты! рыжий! А валенком в рожу если? Свои ставь, чужих не трог!

Сыпят, сыпят в барак зэки. В 20-й бригаде кричат:

— Сдавай валенки!

Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут. А потом бегать будут:

— Гражданин начальник! Пустите в барак!

А надзиратели сойдутся в штабном — и по дощечкам своим бухгалтерию сводить, убежал ли кто или все на месте.

Ну, Шухову сегодня до этого дела нет. Вот и Цезарь к себе меж вагонами ныряет.

— Спасибо, Иван Денисыч!

Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. Можно двухсотграммовку доедать, можно вторую папиросу курнуть, можно и спать.

Только от хорошего дня разveселился Шухов, даже и спать вроде не хочется.

Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Шухов не спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), голову — на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх одеяла — бушлат, и — Слава тебе, господи, еще один день прошел!

Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то еще можно.

Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке, через ребро доски от Шухова, — обратно головой, чтоб ему от лампочки свет доходил, Евангелие опять читает.

Лампочка от них не так далеко, можно читать и шить даже можно.

Услышал Алешка, как Шухов вслух бога похвалил, и обернулся.

— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится богу молиться. Почему ж вы ей воли не даете, а?

Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или „в жалобе отказать".

Перед штабным бараком есть такие ящичка четыре, опечатанные, раз в месяц их уполномоченный опорожнивает. Многие в те ящички заявления кидают. Ждут, время считают: вот через два месяца, вот через месяц ответ придет.

А его нету. Или: "отказать".

— Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру иметь и скажете этой горе — перейди! — перейдет.

Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул. Прикурил у эстонца.

— Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться, и гор-то самих я не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна перешла?

Тоже горюны: богу молились, кому они мешали? Всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка.

— А мы об этом не молились, Денисыч, — Алешка внушает. Перелез с евангелием своим к Шухову поближе, к лицу самому. — Из всего земного и бренного молиться нам господь завещал только о хлебе насущном: „Хлеб наш насущный даждь нам днесь!"

— Пайку, значит? — спросил Шухов.

А Алешка свое, глазами уговаривает больше слов и еще рукой за руку теребит, поглаживает:

— Иван Денисыч! Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном: чтоб господь с нашего сердца накипь злую снимал...

— Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп...

— О попе твоем — не надо! — Алешка просит, даже лоб от боли переказился.

— Нет, ты все ж послушай. — Шухов на локте поднялся. — В Поломне, приходе нашем, богаче попа нет человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по тридцать пять рублей в день берем, а с попа — сто. И хоть бы крякнул. Он, поп поломенский, трем бабам в три города алименты платит, а с четвертой семьей живет. И архиерей областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею дает. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет...

— Зачем ты мне о попе? Православная церковь от евангелия отошла. Их не сажают, потому что вера у них не твердая.

Шухов спокойно смотрел, куря, на Алешкино волнение.

— Алеша, — отвел он руку его, надымив баптисту и в лицо. — Я ж не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лег Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтоб кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алешка лопочет.

— В общем, — решил он, — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и дисидишь.

— А об этом и молиться не надо! — ужаснулся Алешка. — Что тебе воля? На воле твоя последняя вера тернием заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: „Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя господа Иисуса!"

Шухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от сроку прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.

Только б то и хотелось ему не воле, чтоб — домой.

А домой не пустят...

Не врет Алешка, и по его голосу и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть.

— Вишь, Алешка, — Шухов ему разъяснил, — у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чем?

— Что-то второй проверки нет... — Кильгас со своей койки заворчал.

— Да-а! — отозвался Шухов. — Это нужно в трубе угольком записать, что второй проверки нет. — И зевнул: — Спать, наверно.

И тут же в утихающем усмиренном бараке услышали грохот болта на внешней двери. Вбежали из коридора двое, кто валенки относил, и кричат:

— Вторая проверка!

Тут и надзиратель им вслед:

— Выходи на ту половину!

А уж кто и спал! Заворчали, задвигались, в валенки ноги суют (в кальсонах редко кто, в брюках ватных так и спят — без них под одеяльцем скорченеешь) .

— Тьфу, проклятые! — выругался Шухов. Но не очень он сердился, потому что не заснул еще.

Цезарь высунул руку наверх и положил ему два печенья, два кусочка сахару и один круглый ломтик колбасы.

— Спасибо, Цезарь Маркович, —нагнулся Шухов вниз, в проход. — А ну-ка, мешочек ваш дайте мне наверх под голову для безопаски. (Сверху на ходу не стянешь так быстро, да и кто у Шухова искать станет?)

Цезарь передал Шухову наверх свой белый завязанный мешок. Шухов подвалил его под матрас и еще ждал, пока выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше стоять. Но надзиратель оскалился:

— А ну, там! в углу!

И Шухов мягко спрыгнул босиком на пол (уж так хорошо его валенки с портянками на печке стояли — жалко было их снимать!) . Сколько он тапочек перешил — все другим, себе не оставил. Да он привычен, дело недолгое.

Тапочки тоже отбирают, у кого найдут днем.

И какие бригады валенки сдали на сушку — тоже теперь хорошо, кто в тапочках, а то в портянках одних подвязанных или босиком.

— Ну! ну! — рычал надзиратель.

— Вам дрына, падлы? — старший барака тут же.

Выперли всех в ту половину барака, последних — в коридор. Шухов тут и стал у стеночки, около парашной. Под ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из сеней.

Выгнали всех — и еще раз пошел надзиратель и старший барака смотреть — не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто в затемке и спит. Потому что недосчитаешь — беда, и пересчитаешь — беда, опять перепроверка. Обошли, обошли, вернулись к дверям.

Первый, второй, третий, четвертый... уж теперь быстро по одному запускают. Восемнадцатым и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке, да на подпорочку ногу закинул — шасть! — и уж наверху.

Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат, спим! Будут теперь всю ту вторую половину перепускать, да нам-то горюшка нет.

Цезарь вернулся. Спустил ему Шухов мешок.

Алешка вернулся. Неумелец он, всем угождает, а заработать не может.

— На, Алешка! — и печенье одно ему отдал.

Улыбится Алешка.

— Спасибо! У вас у самих нет!

— Е-ешь!

У нас нет, так мы всегда заработаем.

А сам колбасы кусочек — в рот! Зубами ее! Зубами! Дух мясной! И сок мясной, настоящий. Туда, в живот, пошел.

И — нету колбасы.

Остальное, рассудил Шухов, перед разводом.

И укрылся с головой одеяльцем, тонким, немытеньким, уже не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины зэков: ждут, когда их половину проверят.

Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в столовке он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...

(Окончание. Начало в №10.)

Фотоэтюд М. Потырнике

ТРАГИЧЕСКАЯ МЕТАМОРФОЗА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА БЕССАРАБИИ В ГОД ИСПЫТАНИЙ

МИНУВШИМ ЛЕТОМ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЫЛО ПРИКОВАНО К 1940 ГОДУ, ВЕРНЕЕ, К ИЮНЬСКИМ СОБЫТИЯМ ЭТОГО ГОДА, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОГО СВОИМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ УРОКАМИ. И В ПЕЧАТИ, И В УСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ОТМЕЧАЛОСЬ, ЧТО СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ С 28 ИЮНЯ ПО 2 АВГУСТА 1940 Г., НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ И ОЦЕНИТЬ БЕЗ УЧЕТА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ СОБЫТИЙ, НАЧИНАЯ С ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ ОТ 23 АВГУСТА 1939 ГОДА. ХОТЯ ОБ ЭТОМ УЖЕ НЕМАЛО СКАЗАНО, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ВСЕ ЖЕ НЕ ВЫРАБОТАЛО ПОКА ДОСТАТОЧНО ЯСНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В БЕССАРАБИИ В ТОТ БУРНЫЙ ГОД, СТАВШИЙ ПОВОРОТНЫМ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОЛДАВИИ.

ИСТОРИК, КОТОРОМУ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ТЯГОСТНЫХ ЛЕТ МОЛЧАНИЯ УДАЛОСЬ ВЫТОЛКНУТЬ ИЗО РТА КЛЯП СТАЛИНЩИНЫ, ПРОСТО ОБЯЗАН ПОВЕДАТЬ О НАБОЛЕВШЕМ, РАССКАЗАТЬ СВОИМ СОГРАЖДАНАМ О ВРЕМЕНАХ МРАЧНЫХ И ЖЕСТОКИХ.

Определенные политические и научные круги заинтересованы отрицать сговор между Сталиным и германским нацистским режимом. По этой причине они отрицают и подлинность некоторых документов или их копий, как и секретного дополнительного протокола, подписанного одновременно с пактом о ненападении 23 августа 1939 года, непосредственно связанного с исторической судьбой Бессарабии, причем связанного столь тесно, что жизненные интересы молдавского народа настоятельно требуют ликвидировать пагубные последствия насилия и произвола, закрепленного протоколом. Но те же круги отвергают даже самую связь, ведь в противном случае она объясняла бы маневры сталинской внешней политики 1939—1940 годов, что не так-то легко сделать с позиций гуманизма и с точки зрения моральных норм. Удобнее отрицать или хотя бы уклоняться от разъяснений.

Не будем и мы делать скучных научных изысканий о том, что происходило тогда в действительности. Разумнее, учитывая нынешнюю степень разработанности проблемы, дать людям возможность напрямую познакомиться с документальными свидетельствами, чтобы у каждого сложилось собственное мнение о столь разноречиво трактуемых вопросах, тем более что всем нам набило оскомину традиционное наукообразие всевозможных толкований и комментариев, созданных, как правило, под бдительным официальным приглядом.

Именно поэтому я составил хронику событий, начиная с 23 августа 1939 г. и до первых дней июля 1940 г., принесших невзгоды, которые испытала на себе многострадальная земля Бессарабии к моменту развязки мрачной политической фантасмагории и после нее.

Мой вклад в эту работу невелик. Поэтому от себя и от имени читателей журнала хочется выразить благодарность историкам, усилиям которых опубликовано более 70 документов, расположенных далее в хронологическом порядке.

Ион ЦУРКАНУ,
кандидат исторических наук

ДОКУМЕНТЫ В ПОДБОРКЕ ЭТОГО НОМЕРА ОХВАТЫВАЮТ СОБЫТИЯ С ЛЕТА 1939 Г. ДО 26 ИЮНЯ 1940 Г., ТО ЕСТЬ ВПЛОТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО УЛЬТИМАТУМА, ДАТИРОВАННОГО ТЕМ ЖЕ ДНЕМ.

ВЕСНА 1939 ГОДА.

Румынский дипломат Гр. Гафенку о беседе с Герингом
(разговор начинается с обращения к нему Геринга)

— Вы призвали англичан и французов поддержать вас; хотите, чтобы они воевали на вашей стороне?

— Нашу независимость и целостность границ мы готовы отстаивать сами, господин маршал.

— Давно вы выступаете на дипломатическом поприще, господин министр?

— Всего несколько месяцев. Но уже двадцать пять лет я — солдат.

Этот намек на мое авиационное прошлое развеселил маршала военно-воздушных сил. Он продолжал более любезно:

— Но все же вы должны сознавать, что от этой гарантии мало проку. Обещая военную поддержку, Германия дает ее, потому что в состоянии это сделать. Судите сами: если большевики атакуют ваши границы, мои самолеты через несколько часов прибудут на место и смогут вас защитить. Англия же не в состоянии вам помочь. Из эгоистических побуждений она старается привлечь на свою сторону страны, которые не входят в сферу ее влияния; когда же близится опасность, она их оставляет без поддержки. Предлагаемая Англией помощь совершенно недейственна. Вы не задавались вопросом, господин министр, каким образом в случае войны к вам могла бы подоспеть помощь британцев?

— Я никогда об этом не думал, господин маршал.

Поскольку Геринга явно удивил такой ответ, я пояснил:

— А почему, собственно, это должно меня заботить? Если нападут русские, знаю, вы готовы — и только что меня в этом заверили — нас защитить. Если против выступят венгры, мы справимся своими силами. Тогда кто же, полагаете, может нам угрожать?

Улыбнувшись, маршал сказал:

— Возможно, вы правы.

Затем он возобновил разговор и серьезно заговорил о политике окружения:

— Политика, проводимая Лондоном, опасна; в особенности она опасна для вас. Рейх не забыл 1914 года; он никогда не позволит себе попасть в окружение; не желает снова воевать против всего мира. Мы будем защищаться ожесточенно и атакуем наиболее слабые, не подготовленные пункты вражеского фронта. Если Румыния нам друг, мы желаем ей быть сильной державой. Если же она станет участвовать в политике окружения, то оставим ее на разграбление алчным соседям — болгарам и венграм.

23 АВГУСТА 1939 г.

Секретный дополнительный протокол

По случаю подписания Пакта о Ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся представители обеих Сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем:

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими Сторонами.

2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарва, Висла и Сан.

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение независимости Польского го-

сударства, и о границах такого государства будет окончательно решен лишь ходом будущих политических событий.

В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия.

3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях.

4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как строго секретный.

Москва, 23 августа 1939 г.

За правительство Германии
И. РИББЕНТРОП

Полномочный представитель Правительства ССР
В. МОЛОТОВ

13 ДЕКАБРЯ 1939 г.

Из «Дневника» короля Карла II

Клодиус заявил Э. Урдэряну, что Германия защитит нас в тот момент, когда Советы перейдут Прут. Это заявление, казавшееся поначалу доброй вестью, на самом деле скверно, поскольку свидетельствует, что в этом вопросе должно существовать русско-германское соглашение.

ЯНВАРЬ 1940 г.

Из воспоминаний Памфила Шейкару, издателя и государственного деятеля

В январе 1940 г. король прибыл в Кишинев, где население встречало его как мессию; притязания Советской России на эту обездоленную провинцию тревожат бессарабцев, и потому присутствие короля их несколько успокаивало. У короля Карла был редкий дар импровизации, казалось, он угадывал мысли толпы, которая вдохновляла его речи. Дорога до Кишинева вызывала серьезные опасения у правительства, которое предприняло исключительные меры безопасности, дабы предупредить возможное покушение. При появлении короля возбужденная толпа прорвала заграждения, и король оказался в туще восторженно приветствовавших людей. В этой радостной атмосфере угадывалась отчаянная мольба всей провинции: «Не покидай нас, защити!»

11 МАРТА 1940 г.

Из рассказа посла Румынии в Италии Раула В. Босси.

Мы обсуждали различные стоявшие перед Румынией проблемы, и Макензен, учитывая наши добрые личные отношения, сложившиеся за время, когда мы одновременно занимали оба поста (советников в Риме и послов в Будапеште), не оставил и тени надежды на то, что эти проблемы могут решиться в нашу пользу. Ограничусь пересказом самого значительного и трагического фрагмента из моего доклада от 7 марта в связи с бессарабским вопросом: «Германский посол заявил мне вполне официально: «Мы желаем мира на юго-востоке, и бессарабский вопрос нужно снять. Несколько месяцев назад вы готовы были вести переговоры с русскими, теперь же отказываетесь, поскольку финские события побуждают вас к сопротивлению. Но имейте в виду, советскую армию не следует недооценивать (накануне он говорил мне прямо противоположное). Что вы будете делать в случае нападения?» Так же официально я ответил: «Поступим как финны. Если придется умереть, умрем достойно. Но я уверен, мы не пропадем. Помимо нашего сопротивления, надеюсь, нам помогут все противники большевистского проникновения на Балканы и в первую очередь Германия, не заинтересованная в том, чтобы ей отрезали выход к Босфору и на восток». Макензен заметил: «Никто не желает укрепления позиций русских на Балканах, но принято считать, что Балканы начинаются с Прута. Оккупация Бессарабии не будет первым шагом в имперской политике, для этого Сталин слишком умен, но она станет заключительной фазой его ревизионистской политики, restitutio in integrum[1] России в границах 1914 года». В таком случае, сказал я, Россия аннексирует Варшаву, как бывшую свою территорию, и Финляндию? Нет, ответил Макензен, это связано со слишком значительными трудностями, которые подстерегают Россию в Бессарабии, чья судьба — признаемся откровенно — никого, кроме вас, не интересует, во всяком случае, немцам и итальянцам до нее нет дела, они желают одного: установить мир на юго-востоке, независимо от того, каким образом он будет достигнут.

Я сказал, как странно выглядит способ устанавливать мир, нападая на Румынию и втягивая все Балканы в войну. Но мой собеседник стоял на своем: «За Бессарабию никто не станет бороться. Поэтому лично я считаю, вам следует поладить с русскими, если те поднимут бессарабский вопрос. Именно учитывая большое влияние Румынии в дунайском бассейне, надо всячески избегать сползания к взрывоопасной ситуации. Или вы полагаетесь на британское ручательство? Англичане поддержат вас газетной шумихой, но не военными действиями». Я ответил, что вместо иронических пассажей по поводу британского ручательства Германия могла предложить свое ручательство, которое мы не отклонили бы. «Когда мы даем ручательство, то в отличие от англичан, оно подкреплено действиями», — резко отозвался Макензен.

Из сказанного выше со всей очевидностью следует, что послу Германии достоверно было известно, что в пакте Молотова—Риббентропа «expressis verbis»[2] оговаривалась заинтересованность Германии в вопросе о Бессарабии. Заверения же Макензена о том, что Сталин слишком умен и не пойдет на проникновение на Балканы, — одно из многочисленных проявлений политической слепоты моего немецкого коллеги, как, впрочем, и тех, кто поручил ему поговорить со мной в таком плане. Для нас смысл речей Макензена сводился к следующему: смотрите сами, как избежать военного столкновения с русскими, поскольку Бессарабия, можно считать, утрачена, и никто не выступит вам на помощь.

29 МАРТА 1940 г.

Из выступления В. Молотова на сессии Верховного Совета СССР

В числе соседствующих с нами южных стран, названных мною, есть одна, с которой у нас нет договора о ненападении, — Румыния. Это объясняется наличием нерешенного спорного вопроса о Бессарабии, аннексия которой Румынией никогда не признавалась Советским Союзом, хотя он никогда не ставил вопрос о возврате Бессарабии военным путем.

[1] **Восстановление в целостности (лат.).**

[2] **Достаточно отчетливо (лат.).**

Таким образом, нет никаких причин для осложнения советско-румынских отношений. Правда, мы долгое время не имеем своего полномочного представителя в Румынии, чьи обязанности выполняет поверенный в делах.

Однако это объясняется особыми обстоятельствами недавнего прошлого. Если уж говорить об этой проблеме, нельзя обойти молчанием ту неприглядную роль, которую сыграли румынские власти в 1938 году в так называемом «деле» Бутенко[1], выполнявшего в то время обязанности полномочного советского представителя в Румынии.

Думается, Румыния поймет, что в дальнейшем подобные действия нетерпимы.

1 АПРЕЛЯ 1940 г.

Из доклада Раула В. Босси

Придя на аудиенцию 1 апреля, я рассказал ему (Г. Чиано, министру иностранных дел Италии — **И. Ц.**) о недавней речи Молотова, полной угроз в наш адрес. Его также занимает это выступление, похоже, он разделяет нашу точку зрения, и считает, что исчезновение Бутенко — слишком легковесный повод для серьезной ссоры. Но прибавлю, он не до конца постиг политическую подоплеку доклада. Последние сведения, полученные от немцев, напротив, указывают на стремление к миру с Балканами и даже с Россией. Никогда, однако, не знаешь, чего ждать от Москвы, а советско-итальянские отношения не улучшаются, ни в политическом, ни в экономическом плане.

1 АПРЕЛЯ 1940 г.

Из рассказа Раула В. Босси.

Советский поверенный в делах Хелфант явился ко мне, пытаясь развеять мои опасения, и сказал, что комиссар по иностранным делам СССР не имел намерений выказывать агрессивность, он лишь напомнил о причинах, стоящих на пути к заключению договора между Москвой и Бухарестом или принятию русского ручательства в нашу пользу. Эти причины давно известны: позиция советского правительства по отношению к бессарабскому вопросу и огорчение, которое принесла бегство Бутенко из Румынии.

2 АПРЕЛЯ 1940

Из «Дневника» короля Карла II.

Главная проблема сейчас — речь Молотова. Речь, разбивающая всякие иллюзии, агрессивная по отношению ко многим, в том числе и к Италии; это прекрасно, поскольку ослабляет Ось (Берлин-Рим). Касательно нас он вновь утверждал, что СССР не отказывался от Бессарабии и потому не может заключить с нами пакт о ненападении; однако данный вопрос будет решаться мирным путем. Еще добавил, что посла к нам не направили из-за дела Бутенко, в котором мы проявили себя как народ нецивилизованный. Первый вопрос, о котором и говорить не стоило, давным-давно известен, а вторая реплика — просто-напросто наглая выходка. Гафенку озабочен, он считает эту речь серьезным предупреждением, я с ним полностью согласен. У кого-то она вызовет панику, для других же послужит стимулом к укреплению национальной безопасности.

КОНЕЦ АПРЕЛЯ

Из воспоминаний Ал. Крециану, государственного секретаря министерства иностранных дел Румынии.

Наиболее вызывающим опасение симптомом среди прочих было выступление Молотова 29 марта 1940 года, где подчеркивалось наличие нерешенной спорной проблемы: бессарабского вопроса. Еще более серьезно Молотов подчеркнул, что «не существует пакта о ненападении между Советским Союзом и Румынией». Иными словами, это означает, что Кремль решил игнорировать не только договор Бриан—Келлога, но и конвенцию по определению агрессора. В данном случае достаточно вспомнить, что произошло в Польше, Финляндии, трех прибалтийских республиках, хотя каждое из этих государств имело формальные и отдельные соглашения о ненападении с Советским Союзом.

Советское правительство упрекало нас во все более угрожающем тоне в преднамеренных приграничных инцидентах, утверждая, что они спровоцированы нашими войсками. 19 апреля Молотов вызвал нашего посла в 10 час. 30 мин. вечера и принял его весьма торжественно, в присутствии государственного помощника Наркома, дабы предупредить относительно этих инцидентов, вручил ему бумаги с перечнем 15 случаев, лишенных всяких оснований, в которых, по его словам, румынские войска нарушали границу; он отметил, что это могут быть «подстрекательские элементы, возможно, поляки» из состава нашей армии. «Подобные инциденты не должны повторяться, — и ткнул пальцем в нашего посла. — Из этого ничего хорошего не выйдет».

Вообще-то удивляться здесь нечему. После заключения советско-нацистского пакта мы жили буквально в состоянии неопределенности. Франко-британские ручательства служили препятствием советским замыслам против нас, но после Седана[1], Дюнкерка[2] и после капитуляции Петэна[3] чего могут опасаться русские со стороны Франции и Англии?

Теперь нет силы, стоящей между нами и гигантской империей, а судьбе было угодно разместить нас на ее границах. Единственной военной силой, способной противостоять советской экспансии, был Третий рейх. Но в тот момент Германия была союзницей Советского Союза во всех его замыслах и целях.

[1] **Имеются в виду немецкое наступление 20 мая и поражение французских войск 23—24 мая 1940 г. при Седане и Ла-Манше.**

[2] **Ссылка на события 27 мая — 4 июня 1940 г. в районе французского города Дюнкерка, где немцы разбили части английской, французской и бельгийской армий.**

[3] **Маршал и руководитель французского правительства в 1940 г., заключивший 22 июня в Компьенском лесу перемирие (фактически капитуляцию) с фашистской Германией.**

[1] **В феврале 1938 г. Бутенко, временный поверенный в делах Советского посольства в Бухаресте, покинул пределы Румынии и обосновался в Риме, где в заявлениях и публикациях стал порочить СССР. После этого советское правительство отозвало своего полномочного посла М. Островского, оставив в Румынии лишь представительство. Лишь в июне 1940 г. был назначен новый полномочный посол А. И. Лаврентьев.**

МЕЖДУ 1—9 АПРЕЛЯ 1940 г.

Из доклада Дана Телемака, начальника консульского отдела Румынского посольства в Москве.

В течение многих недель Красная Армия сосредоточивает значительные силы в районе к югу от Лемберга[1] вплоть до нашей границы, а также в районе, соседствующем с Прикарпатской Россией.

Из окрестностей города Коломея были эвакуированы целые села. Это сообщение подтвердил и американский консул М. Уорд. Советские офицеры в разговорах с местными жителями открыто заявляют, что военные приготовления у границы с Румынией ведутся с целью «освобождения Бессарабии».

ПРИМЕРНО 9 АПРЕЛЯ

Из телеграммы Румынского посольства в Москве, датированной позже 9 апреля.

Господин Шуленбург выразил уверенность, что румыны допустят ошибку, если их встревожит эта нота. Днем ранее того, когда послу Румынии был вручен данный документ, Комиссариат направил Германскому посольству аналогичную ноту, включающую 32 инфронтовых инцидента. В ответ на этот перечень посольство Германии уведомило комиссариат о 52 инцидентах, спровоцированных русскими пограничниками за последнее время.

9 АПРЕЛЯ

Из «Дневника» Карла II.

Принял нового военного атташе Италии, переведенного сюда из Москвы. Чрезвычайно интересно с ним побеседовали.

Атташе многократно повторял мне свой основной тезис, как он выражался, «je le souligne pas avec un mais, avec deux traits»[2]. Наибольшую опасность представляет огромная численность Красной Армии. Они легко могут мобилизовать 12000000 прекрасно вооруженных солдат. Армия хорошо оснащена, кроме авиации, которая устарела.

[1] **Современный Львов.**

[2] **«Не подчеркиваю, но отмечаю» (франц.).**

13 АПРЕЛЯ

Из донесения посла Италии в Бухаресте П. Гиджи министру Чиано.

Посол Германии в Бухаресте, выражавший до сих пор самые различные мнения, вчера в моем присутствии допустил возможность некой акции в Бессарабии; та же формулировка используется в кругах, близких к немецкому посольству, о чем сообщил нам корреспондент (итальянского — **И. Ц.**) пресс-агенства Стефани.

15 АПРЕЛЯ

Из отчета о встрече Шуленбурга с Молотовым.

На вопрос Шуленбурга о том, как развиваются русско-румынские отношения после выступления 29 марта, Молотов ответил, что, как известно господину Шуленбургу, советское правительство не может считать решенным бессарабский вопрос. Этот вопрос еще не «sur le tapis»[3].

15 АПРЕЛЯ

Из донесения посла Италии в Берлине Б. Аттолико своему министру в Риме

Министр иностранных дел (Германии — **И. Ц.**) сообщил мне о тревоге и озабоченности, царящих в Румынии в связи с возможной военной акцией русских. Причиной этого беспокойства послужила речь Молотова, а также его переговоры с послом Румынии в Москве. Во время этих переговоров Молотов вручил румынскому послу **Меморандум**, в котором приведены многочисленные пограничные инциденты, но, судя по всему, после выступления немецкого посла в Бухаресте распространилось мнение, что меморандум является со стороны России лишь предлогом. Данный меморандум немало озадачил румынское правительство, которому известен единственный случай пограничного столкновения. В определенной мере обеспокоен и Генеральный Штаб, в связи с подтверждением перегруппировок войск на границе с Румынией. В Министерстве иностранных дел ничто не указывает на возможные перемены в отношениях России к Румынии, однако следует иметь в виду, что Россия, даже сохраняя претензии на Бессарабию, не намеревается прибегнуть к военному давлению.

[3] **Вынесен на обсуждение (франц.)**

МЕЖДУ 15—19 АПРЕЛЯ

Из донесения П. Гиджи Чиано о заявлениях пресс-атташе Советского посольства в Бухаресте.

Между Румынией и моей страной, заявил советский пресс-атташе, в течение двадцати лет румынской стороной искусственно воздвигалась преграда, называемая Бессарабией. Пришло время устранить эту преграду, поскольку СССР не может более мириться с ее существованием. По мнению поверенного в делах моего посольства, через неделю или самое большее через месяц этот вопрос будет поднят нашими властями, которые намерены раз и навсегда с ним покончить. По его мнению, Москва потребует от Бухареста определить принадлежность Бессарабии к России или даже к Румынии посредством плебисцита с международными гарантиями. Бессарабцы силой оружия принуждены были присоединиться к румынам и не имели возможности высказать свое мнение, мы же намерены в кратчайшие сроки ликвидировать такое положение дел. Если Румыния, отказываясь на протяжении двадцати лет проделать это, не примет и сейчас советского предложения, она убедится, что возврата к прошлому быть не может.

19 АПРЕЛЯ

Из заметок Р. Босси о его беседе с Хелфантом, советским поверенным в делах в Риме.

Хелфант — молодой человек, израелит с Украины, с гибким и живым умом. Поначалу он хотел мне показать, что, судя по дошедшим до него слухам, итало-румынское сближение имеет целью согласование политики, направленной против России. В этом смысле его удивляло отношение итальянской прессы, которая не перестает выпячивать предположительную напряженность между Москвой и Бухарестом и неустанно толкует о том, что СССР якобы готовит неизбежное нападение на Румынию. Хелфант пытался внушить, как неверно мы поступаем, сближаясь с географически удаленной от нас Италией, которая в «невероятном» случае русского нападения ничем не могла бы нам помочь, а даже напротив, поспешила бы в такой ситуации посоветовать венграм и болгарам оккупировать румынские территории, на которые те претендуют и окончательное владение которыми взялась бы устроить итальянская дипломатия при заключении мира. Вместо того, чтобы следовать такой шаткой политике, румынскому правительству, по мнению Хелфанта, следовало бы окончательно и дружески выяснить отношения с Россией...

Я ответил, что слухи, подхваченные румынской прессой в связи с возможностью русской угрозы нашей стране, вполне объяснимы, если учесть последние выпады Московского правительства против нас: выступление Молотова и встречу народного комиссара по иностранным делам и посла Румынии в Москве. Советский поверенный в делах сказал на это, что мы жертвы «интриг» союзников и итальянцев, расценивших действия Молотова как провокацию, в то время как они скорее похожи на «приглашение на вальс». На выдвинутые Молотовым обвинения Давидеску следовало бы ответить предложением провести развернутые переговоры для прояснения русско-румынских отношений. Я высказал личное мнение, что такое предположение кажется мне рискованным, ведь это позволило бы Молотову поставить во главу угла бессарабский вопрос — как он сделал это в своем выступлении — и, не начавшись, переговоры были бы прерваны. «Будем говорить откровенно, — сказал Хелфант, — нас не столь уж интересует Бессарабия сама по себе, но тот способ, каким вы ее у нас отняли, оставил в сердцах глубокую рану. И рану эту нанесла Румыния, воспользовавшаяся слабостью и неудачами России, чтобы урвать для себя целый край. Этого нельзя забыть, как нельзя забыть и союзничества румын с поляками против нас. Надо найти средство залечить рану». Я перебил собеседника, выразив удивление такой трактовкой фактов. В послевоенной разрухе, когда казалось, что Россия распадется и никто не знал, как быть дальше, румыны

из Бессарабии воссоединились со своими братьями. И если существует страна, воспользовавшаяся слабостью и неудачами другой, чтобы урвать для себя целый край, то разве это не Россия, поступившая именно так с Польшей прошлой осенью? «Но мы лишь вернули себе то, что поляки несправедливо у нас отняли»,— возразил Хелфант. «А разве не то же происходит и с нами в связи с Бессарабией?» — спросил я. «Во всяком случае, — продолжал советский представитель, не обращая внимания на мой вопрос, — откуда вы знаете, что Молотов поднимет вопрос о Бессарабии во всей его полноте? Думаю, вас удивит великодушие (sic!) советского правительства».

Я дал понять, что нам не следует говорить о территориальных притязаниях. С расчленением государства начинает рушиться и стена нравственной стойкости народа. Полагаю, можно было бы предпринять жесты доброй воли, однако территориальные уступки исключаются. Мы предпочтем борьбу, как бы рискованна она ни была. «Но возможно, от вас не потребуют никаких территориальных уступок. Почему вы решили, что Молотов не ограничится предложением, к примеру, как Эстонии, отдать какую-нибудь морскую базу, которая отразит возможную высадку войск генерала Вейгана?»[1]. Я ответил, что эстонский прецедент вряд ли прельщает мое правительство и к тому же уступка морской базы входит в понятие территориальных уступок.

Воодушевленный спором, собеседник не сдавался: «Я упомянул морскую базу просто в качестве примера. Возможно, от вас потребуют гораздо меньше. Мне не известны намерения моего руководителя. Но как бы то ни было, свяжитесь с Молотовым, переговорите с ним, не беря никаких обязательств, прощупайте почву! Положение усугубляется с каждым днем».

Я спросил у Хелфанта, уполномочен ли он так говорить со мной и почему эти указания даются в Риме, ведь у нас есть представитель в Москве, а Советы имеют представителя в Бухаресте. Советский поверенный в делах заявил, что не получал инструкций что-либо обещать румынскому правительству, но позволил себе дать совет, и если я пожелаю, он незамедлительно сообщит лично му секретарю Молотова о нашем сегодняшнем разговоре, будучи уверен, что не вызовет неудовольствия. Я ответил: никто не препятствует ему спросить у начальника, хорошо или дурно он поступил, беседуя так, как беседовал, но думается, этот вопрос, выходящий за пределы нашей компетенции, следует переадресовать нашим коллегам в Москве и Бухаресте, ведь Италия и без того предоставляет нам широкое поле деятельности.

[1] **Командующий французской армией.**

30 АПРЕЛЯ

Из телеграммы консула Италии в Монако.

Подготовку к германской акции в Румынии (речь идет об определенном давлении, особенно в политической сфере, на Румынию — **И. Ц.**) можно считать завершенной, так что эту акцию можно провести хоть завтра.

МЕЖДУ 30 АПРЕЛЯ И 22 МАЯ

Из доклада посла Италии в Будапеште Дж. Таламо министру Чиано.

Вопреки заверениям, данным мне заместителем министра иностранных дел относительно неразвертывания венгерских военных приготовлений, Генеральный Штаб дал понять, и это подтвердил здешний военный атташе, что возможна скорая мобилизация двух других войсковых корпусов. Кажется, речь идет о 5 и 6 корпусах, дислоцированных на границе с Румынией, эти действия можно связать с советской угрозой в адрес Бессарабии, на границе с которой советские вооруженные силы оцениваются в 28—30 пехотных дивизий, 7—8 кавалерийских дивизий и от 6 до 8 моторизованных дивизий. Если советская акция, которую считают предрешенной, породит осложнения на Балканах и Германия с Италией автоматически будут вовлечены в этот конфликт, здешние военные круги выражают уверенность, что Германия обязана будет вмешаться, а Венгрии придется по возможности защищать фланги, дабы укрепить линию Карпат.

22 МАЯ

Из беседы германского посла в Бухаресте Фабрициуса с Гр. Гафенку.

В последние месяцы произошли глубокие перемены в русско-германских отношениях, и это надо учитывать. Мир и покой Румынии во многом зависят от договоренности, какой достигнет Румыния со своими восточными соседями. Раз уж не удастся перенести в другое место Одессу (ссылка на сетования советской стороны, что Одесса расположена слишком близко к румынской границе — **И. Ц.**), то можно немного передвинуть границу.

23 МАЯ

Из представленной королю записки генерала Флори Ценеску, начальника румынского Генерального Штаба.

Русско-германский пакт предоставляет России возможность напасть на Бессарабию. Наступил крайний срок, когда правительство должно сообщить Генштабу, нужно ли защищать Бессарабию либо эвакуировать ее. От данного выбора зависит подготовка диспозиции по защите или эвакуации в удобное время военного снаряжения и движимого имущества. Ответ требуется предельно срочно.

30 МАЯ

Из письма Муссолини Гитлеру

С политической точки зрения считаю необходимым не распространять конфликт на дунайско-балканский бассейн, откуда Италия сейчас обеспечивает поставки, которые не будут теперь поступать из Англии. Полагаю, сделанное мною в подходящий момент заявление на этот счет успокоит население данных регионов и не позволит ему поддаться возможному давлению со стороны союзников.

1 ИЮНЯ

Из донесения румынского посла в Москве Г. Давидеску министру иностранных дел Румынии.

Сегодня в 5.30 меня принял в Кремле господин Молотов.

Я сказал ему, что, видя низкий уровень наших прошлогодних торговых обменов, считаю наше соглашение по платежам 1936 года не удовлетворяющим обе стороны. Просил его рассмотреть вопрос в принципе, не следует ли нам заключить новое торговое соглашение.

Он ответил, что ему кажется слишком мало вероятным, чтобы это привело к увеличению советско-румынского товарообмена, поскольку оба государства производят одни и те же основные продукты: нефть, зерно и т. д. Следовательно, мое предложение не кажется ему своевременным.

20 ИЮНЯ 1940 г.

Из рассказа посла Италии в Москве Аугусто Россо о его беседе с Молотовым.

Советское правительство считает, что нужно быстро и недвусмысленно восстановить советско-итальянские отношения, причем в форме, в которой это проделали Германия и Советская Россия. Молотов отметил, что между советским правительством и Германией сложились прекрасные отношения, и результат этого налицо.

Затем Молотов заявил, что, по его мнению, война продлится до зимы и, хотя существуют политические проблемы, разрешение которых должно вскоре последовать, он мог бы кратко охарактеризовать отношения советского правительства с отдельными странами. Так, с Венгрией советское правительство поддерживает хорошие отношения. Советское правительство считает определенные претензии Венгрии обоснованными.

С Болгарией Советский Союз живет в добрососедстве. Советско-болгарские отношения достаточно тесны, но могут углубляться и далее. Советское правительство считает обоснованными болгарские претензии на Добруджу и на выход в Эгейское море, признает их и не возражает против их осуществления.

Отношение Советского Союза к Румынии известно. Советский Союз хотел бы реализовать свои притязания на Бессарабию (о Буковине не упоминалось), желательно мирным путем, но если это окажется невозможным из-за несговорчивости Румынии, решено прибегнуть к силе. Относительно других румынских территорий советское правительство высказывается, согласовав вопрос с Германией. Турции советское правительство отнюдь не склонно доверять. Это следствие недружественного отношения Турции к России и другим государствам, под которыми Молотов явно подразумевал Германию и Италию. Советское недоверие к Турции подкрепляется и поведением турок на Черном море, где Турция хочет играть ведущую роль, и на проливах, где Турция намерена господствовать единолично. Советское правительство озабочено и турецкой угрозой городу Батуми, для нейтрализации которой необходимо укрепить юг и юго-восток, где будут учитываться также германские и итальянские интересы.

В Средиземном море советское правительство признает господство при условии, что Италия признает господство советского правительства на Черном море.

23 ИЮНЯ

Из донесения германского посла в Москве министру иностранных дел в Берлине.

Молотов сделал мне сегодня следующее заявление: решение бессарабского вопроса более не терпит отлагательств. Советское правительство еще попытается решить проблему мирным путем, однако если румынское правительство откажется от мирного соглашения, будет применена сила. Советские требования простираются и на Буковину, где проживает украинское население.

В качестве оправдания Молотов заявил, что, хотя прошло немало времени со дня его выступления в Верховном Совете, Румыния ничего не предприняла для мирного решения бессарабского вопроса. Следовательно, пришла пора действовать.

Я заявил Молотову, что это решение советского правительства явилось для меня неожиданностью. Я всегда считал, что советское правительство сохранит притязания на Бессарабию — по нашему мнению, неоспоримые — однако не ожидал, что оно возьмет на себя инициативу в их осуществлении. Выразил опасение, что осложнения во внешней политике Румынии, которая в настоящее время обеспечивает поставки в больших количествах основного как военного, так и гражданского сырья, — могут серьезно ущемить интересы Германии. Я сказал Молотову, что в срочном порядке доложу об этом моему правительству, и просил не принимать окончательного решения прежде, чем мое правительство выразит свое отношение к намерениям советского правительства.

Молотов пообещал проинформировать советское правительство о моей просьбе и особо подчеркнул срочность вопроса. Молотов прибавил, что советское правительство надеется, что Германия не будет препятствовать, но напротив, поддержит Советы в их действиях. Со своей стороны Советское правительство сделает все возможное для защиты интересов Германии в Румынии. Итак, я незамедлительно попросил телеграфировать указания. Позволю себе обратить внимание на многочисленность немецкого населения, которое проживает в Бессарабии и на Буковине и для которого потребуется предпринять ряд мер.

24 ИЮНЯ

Из меморандума Риббентропа Гитлеру.

По случаю подписания Пакта о ненападении между германским Рейхом и Союзом Советских Социалистических Республик полномочные представители, подписавшие документы с обеих сторон, строго конфиденциально обсудили вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем:

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими Сторонами.

2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарва, Висла и Сан.

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости Польского государства, и о границах такого государства будет окончательно решен лишь ходом будущих политических событий.

В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия.

3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях.

4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как строго секретный».

Как помнится, события развернулись следующим образом:

Во время разграничения взаимных интересов в Восточной Европе Советы подчеркнули интерес, который они проявляют к Бессарабии, когда упоминалось о юго-востоке Европы. По этому случаю я устно заявил о нашей незаинтересованности в вопросе Бессарабии. Однако чтобы не формулировать четко в письменном виде признание возврата русским Бессарабии, из-за возможных недоразумений, принимая во внимание факт, что германско-русские отношения были очень неопределенными, я попытался найти для Протокола формулировку достаточно общего характера. Это было сделано таким образом, что когда обсуждались вопросы юго-восточной Европы, я заявил в очень общей форме, что Германия не заинтересована с точки зрения политической «в этих областях», то есть в юго-восточных Европы. Экономический интерес Германии в этих юго-восточных территориях был соответствующим образом мною подчеркнут. Это было сделано в соответствии с инструкциями, данными Фюрером для юго-востока Европы, как помнится, в соответствии со специальной директивной Фюрера, которую я получил перед моим отъездом в Москву, в которой Фюрер уполномочил меня заявить о незаинтересованности Германии в территориях юго-востока Европы, если необходимо, вплоть до Константинополя и Проливов. Вопрос последних не обсуждался.

24 ИЮНЯ

Телеграмма Шуленбурга министру иностранных дел Германии.

После нашей вчерашней беседы о Бессарабии Молотов заговорил, с явным удовлетворением, об информации ТАСС от 22 июня (относительно советско-германских отношений в связи с советским военным потенциалом в прибалтийских странах — **И. Ц.**), за которую я выразил ему свою признательность.

Судя по формулировкам, думаю, что автор информации сам Сталин. Опровержение слухов о разногласиях между Германией и Советским Союзом, сосредоточение частей в связи с советскими операциями в области Прибалтики и недвусмысленное толкование советско-германских отношений в создавшейся конъюнктуре в общем для нас приемлемы. Но вполне очевиден и дальний прицел информации: подчеркивание советско-германской солидарности и подготовка в связи с рассмотрением бессарабского вопроса*.

25 ИЮНЯ

Инструкции министра иностранных дел Германии послу этого государства в Москве.

Прошу вас нанести визит г-ну Молотову и заявить ему следующее:

1. Германия следует соглашениям в Москве. В соответствии с этим она не проявляет никакого интереса к вопросу Бессарабии. На этой территории находится примерно 100000 немцев. Естественно, что Германия заинтересована в их судьбе и надеется, что их будущее будет гарантировано. Правительство Рейха оставляет за собой право сделать некоторые предложения советскому правительству в ближайшее время в связи с проблемой переселения этих немцев, так же как было решено с населением Волыни.

2. Притязания Советского Союза на Буковину являются новостью. Буковина была в прошлом провинцией Австрийской короны и густо заселена немцами. Германия также очень заинтересована в судьбе этих немцев.

Что касается Румынии, у Германии очень важные экономические интересы. Эти интересы касаются как нефтеносных, так и сельскохозяйственных областей. В соответствии с этим, Германия, как она неоднократно повторяла советскому правительству, чрезвычайно заинтересована избежать того, чтобы эти области превратились в театр военных действий.

(Продолжение следует.)

---

* **Несомненно, речь идет о советско-германской солидарности в решении бессарабского конфликта.**

СПЯЩАЯ СОБАКА

Агата КРИСТИ

— Вы для меня слишком умны, мистер Пуаро. Да, мы поссорились из-за Лили Маргрэйв. Рубен затаил злобу против нее. Он что-то там о ней разнюхал — какие-то фальшивые рекомендации или что-то в этом роде. Я лично всему этому не верю ни на грош. А потом он зашел уж слишком далеко — сказал, что по ночам она потихоньку выбирается из дома, чтобы встречаться с каким-то парнем. Бог мой! Ну, тут уж я не стерпел. Я ему сказал, что и получше него люди прощались с жизнью за слова менее оскорбительные. Это его проняло. Когда я расходился, он меня немного побаивался.

— Это не удивительно, — вежливо вставил Пуаро.

— Я много думал о Лили Маргрэйв, — сказал Виктор Аствелл совсем другим тоном. — Хорошая она девушка, хорошая во всех отношениях.

Пуаро не ответил. Глубоко задумавшись, он смотрел прямо перед собой. Потом, вздрогнув, вышел из оцепенения.

— Мне, пожалуй, следует немного пройтись. Тут ведь поблизости есть гостиница?

— Две, — ответил Виктор Аствелл. — «Гольф» — в верхней части, рядом с полем для гольфа, — идти отсюда прямо, вдоль телеграфной линии, — и «Митра» — у станции.

— Благодарю вас, — сказал Пуаро. — Да, определенно, я должен немного прогуляться.

* * *

Гостиница «Гольф» в соответствии со своим названием находилась рядом с полем для гольфа, в ближайшем соседстве со зданием гольф-клуба. Именно в «Гольф» направился Пуаро в первую очередь во время своей столь громогласно объявленной «прогулки». У этого маленького человечка были свои методы работы. Через три минуты после появления в гостинице он уже вел приватную беседу с мисс Лэнгдон — управляющей.

— Сожалею, что приходится вас беспокоить, мадемуазель, — сказал Пуаро, — но я, видите ли, детектив.

— Детектив!, — воскликнула мисс Лэнгдон, недоверчиво оглядывая его.

По возможности он всегда стремился к простоте. И в данном случае этот подход дал мгновенный эффект.

— Не из Скотланд-Ярда, — успокоил ее Пуаро. — И я, может быть, вы заметили? — не англичанин. Я провожу частное расследование смерти сэра Рубена Аствелла.

— Что вы говорите! — мисс Лэнгдон замерла, вытаращив на него глаза.

— Именно так, — сияя, подтвердил Пуаро. — Я открываюсь только надежным, понимающим людям — таким, как вы. Я надеюсь, мадемуазель, вы сможете помочь мне.

— Возможно, кто-нибудь из джентельменов, ваших постояльцев, в тот вечер, когда произошло это убийство, вернулся в гостиницу примерно в двенадцать—двенадцать тридцать?

Мисс Лэнгдон раскрыла глаза еще шире.

— Вы думаете..., — тяжело выдохнула она.

— Что у вас здесь жил убийца? Нет, но у меня есть основания полагать, что человек, живший у вас, в ту ночь прогулявался вблизи Мон-Репо, и в таком случае он мог видеть что-то, не имеющее для него никакого значения. Мне же это может оказаться полезным.

Управляющая кивнула с видом человека, хорошо знакомого с законами криминального расследования.

— Я все понимаю. Так, минуточку, кто у нас тогда проживал?

Она наморщила лоб, очевидно, перебирая в памяти имена, время от времени помогая себе пальцами.

— Капитан Свэн, мистер Элкинс, майор Блант, старый Бенсон. Нет, сэр, не припомню, чтобы кто-нибудь из них выходил в тот вечер.

— Вы бы это заметили, не так ли?

— Да, сэр. Это ведь не совсем обычно. Бывает, что джентельмены обедают не у нас, но после обеда уже, как правило, не уходят, потому что... ну, идти ведь некуда!

Достопримечательностью городка Крест Аббата был гольф и только гольф.

— Да, это правда, — согласился Пуаро. — Значит, вы не помните, чтобы кто-либо отсутствовал в тот вечер?

— Капитан Ингланд с женой были приглашены на обед.

Пуаро покачал головой.

— Я не это имею в виду. Теперь, пожалуй, я обращусь в другую гостиницу. «Митра», кажется, да?

— Ах, «Митра», — сказала мисс Лэнгдон. — Ну конечно, оттуда на прогулку мог выйти кто угодно.

В ее голосе слышалось явное неодобрение, и Пуаро предпочел удалиться.

Через десять минут он повторил всю сцену, на этот раз с мисс Коул. Управляющая была особой бесцеремонной, а расположенная рядом со станцией гостиница — не такой претенциозной и с ценами пониже.

— Помнится мне, один джентельмен в тот вечер вернулся очень поздно — около половины первого. Это у него привычка такая была — гулять в столь позднее время. Он и до того раза два так делал. Минутку, как же его звали?

Она потянула к себе большой фолиант и зашелестела страницами.

— Девятнадцатое, двадцатое, двадцать первое, двадцать второе — ага, вот: Нейлор, капитан Хамфри Нейлор.

— Он раньше здесь останавливался? Вы хорошо его знаете?

— Да, останавливался один раз, — сказала мисс Коул, — примерно двумя неделями раньше. Он тогда тоже ушел вечером.

— Он приехал поиграть в гольф?

— Думаю, да. Большинство приезжает за этим.

— Я вам бесконечно благодарен, мадемуазель, — сказал Пуаро. — Всего хорошего.

В Мон-Репо он вернулся в глубокой задумчивости. Несколько раз вынимал из кармана какой-то предмет и вглядывался в него.

— Надо это сделать, — пробормотал он, — и сделать быстро.

Войдя в дом, он первым делом спросил Парсонса, где бы он мог найти мисс Маргрэйв. Сообщение о том, что она в маленьком кабинете занимается корреспонденцией леди Аствелл, было принято им с явным удовлетворением.

Маленький кабинет он разыскал без труда. Лили Маргрэйв сидела за столом у окна и что-то писала. Кроме нее в комнате никого не было. Пуаро тщательно прикрыл за собой дверь и подошел к девушке.

— Не будете ли вы добры, мадемуазель, уделить мне одну минуту?

— Ну разумеется.

Лили Маргрэйв отложила бумаги и повернулась к нему.

— Чем я могу быть вам полезна?

— В тот трагический вечер, когда леди Аствелл ушла в кабинет к мужу, вы, мадемуазель, как я понял, тут же поднялись к себе и легли спать. Это верно?

Лили Маргрэйв кивнула.

— И вниз вы больше не спускались?

Девушка покачала головой.

— Если не ошибаюсь, мадемуазель, вы говорили, что за весь вечер вы ни разу не входили в кабинет наверху.

— Не помню, чтобы я это говорила, но это совершенно верно. В тот вечер я не была в кабинете.

Пуаро вскинул брови.

— Интересно, — протянул он.

— Что вы имеете в виду?

— Очень интересно, — повторил Пуаро. — Тогда как вы объясните вот это?

Он вытащил из кармана маленький кусочек зеленого шифона со свежим пятном и поднял его вверх, чтобы девушке было лучше видно.

Выражение ее лица не изменилось, но он скорее почувствовал, чем услышал, прерывистый вздох.

— Я не понимаю, мистер Пуаро.

— Вы ведь, мадемуазель, в тот вечер были в платье из зеленого шифона? Это, — он ткнул пальцем в кусочек ткани, — оторвалось от вашего платья.

— И вы нашли это в кабинете? — резко спросила девушка.— Где?

Пуаро поднял глаза к потолку.

— Пока что, скажем — просто в кабинете.

Впервые в глазах девушки мелькнул страх. Она произнесла что-то, потом замолчала. Пуаро смотрел на ее маленькие белые ладони, намертво вцепившиеся друг в друга, на краю стола.

— Не помню, может, я и входила в кабинет в тот день, — сказала она задумчиво. — Я имею в виду, до обеда. Все-таки, по-моему, нет. Я почти уверена, что нет. И все это время этот лоскуток пролежал в кабинете и полиция не обнаружила его? Это невероятно.

— Эркюль Пуаро, мадемуазель, — сказал маленький человек, — обращает внимание на то, что упускает из виду полиция.

— Возможно, я забежала туда на секунду перед самым обедом,— нерешительно сказала Лили Маргрэйв, — а может быть, и накануне вечером. Я была в том же платье. Да, я почти уверена, что это было накануне вечером.

— Думаю, что нет, — спокойно сказал Пуаро.

— Почему же?

Он только молча покачал головой.

— Что вы хотите этим сказать? — прошептала девушка.

Наклонившись вперед, она неотрывно смотрела на него, и в лице ее не было ни кровинки.

— Вы не заметили, мадемуазель, что на этом лоскутке есть пятно. И это, несомненно, пятно крови.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, мадемуазель, что вы были в кабинете после убийства, а не до него. Думаю, вам лучше рассказать мне всю правду, а иначе вас ждут неприятности.

Он встал — вся его маленькая фигурка и указательный палец, обвиняюще направленный на девушку, выражали непреклонность.

— Как вы узнали? — задыхаясь, проговорила Лили.

— Это не важно, мадемуазель. Эркюль Пуаро знает. Я знаю про капитана Хамфри Нейлора, знаю и то, что вы в тот вечер встречались с ним.

Лили вдруг уронила голову на руки и разрыдалась. Пуаро тут же оставил свой обвиняющий тон.

— Ну, будет, будет, малышка,— сказал он, успокаивающе похлопывая девушку по плечу. — Не расстраивайтесь. Эркюля Пуаро обмануть невозможно. Поймите это раз и навсегда — и все ваши беды закончатся. А сейчас вы расскажете мне все.

— Это вовсе не то, что вы думаете, нет-нет. Хамфри — мой брат, и он его пальцем не тронул.

— Ваш брат? Вот оно что. Если вы хотите избавить его от подозрений, вы должны рассказать мне все, ничего не скрывая.

Лили выпрямилась и отбросила волосы со лба. Помолчав немного, она заговорила. Ее негромкий голос зазвучал ясно и спокойно.

— Я расскажу вам правду, мистер Пуаро. Я понимаю, что сейчас не сделать этого было бы глупо. Мое настоящее имя Лили Нейлор, а Хамфри — мой единственный брат. Несколько лет назад, находясь в экспедиции в Африке, он открыл золотое месторождение или, лучше сказать,

(Окончание. Начало в №№ 9, 10).

обнаружил в породе присутствие золота. Подробно об этом я вам рассказать не могу, потому что я не разбираюсь в технических деталях, но вкратце все свелось вот к чему.

Дело обещало стать очень выгодным. Хамфри вернулся в Англию и письменно обратился к сэру Рубену в надежде заинтересовать его этим начинанием. Я и сейчас не знаю в точности всех деталей, но суть в том, что сэр Рубен выслал эксперта для ознакомления и последующего доклада. Затем он ответил моему брату, что, по мнению эксперта, дело это не стоящее и что он, Хамфри, жестоко ошибся. Брат мой вновь уехал в Африку с экспедицией, исследовавшей внутренние районы континента, и пропал там без вести. Считалось, что и он, и эта экспедиция погибли.

А вскоре после этого была создана кампания по разработке золотых месторождений — «Золото Мпалы». Когда мой брат вернулся в Англию, он тут же заключил, что это и есть открытое им золотое месторождение. На первый взгляд, сэр Рубен Аствелл не имел никакого отношения к этому, а владельцы кампании открыли месторождение самостоятельно. Но эта версия моего брата не удовлетворила. Он был убежден, что сэр Рубен обманул его и все более и более ожесточался. Мы с ним одни на всем белом свете, мистер Пуаро, и, так как мне было необходимо начать самой зарабатывать на жизнь, я предложила эту идею: устроиться компаньонкой в этот дом и попытаться выяснить, есть ли какая-нибудь связь между сэром Рубеном и кампанией «Золото Мпалы». По понятным причинам я скрыла свое настоящее имя и, честно признаюсь, использовала поддельные рекомендации.

Претендентов на эту должность было много и большинство имели опыт побольше моего, и я... мистер Пуаро, я написала отличное рекомендательное письмо от имени графини Пертшир, которая, как я знала, недавно уехала в Америку. Я полагала, что графский титул произведет большое впечатление на леди Аствелл, и я была абсолютно права. Меня тут же приняли. С тех пор я занимаюсь ненавистным делом — шпионю — и до последнего времени — безуспешно. Сэр Рубен не такой человек, чтобы легко выдать свои деловые секреты, но вернувшийся из Африки сэр Виктор Аствелл менее осторожен в своих речах, и я начала подозревать, что Хамфри все-таки не ошибся. Примерно за две недели до убийства мой брат приехал сюда, и я ночью тайком убежала из дома, чтобы встретиться с ним. Когда я передала ему слова Виктора Аствелла, он очень разволновался и сказал, что я на верном пути.

Но тут начались неприятности. Кто-то, наверное, видел, как я украдкой выходила из дома и доложил об этом сэру Рубену. Он заподозрил неладное, занялся моими рекомендациями и вскоре обнаружил, что они поддельные. Гром грянул в день накануне убийства. Думаю, он решил, что я охочусь за драгоценностями его жены. Как бы там ни было, он не желал, чтобы я оставалась в Мон-Репо, хотя и согласился не возбуждать против меня дела в связи с этими рекомендательными письмами. Леди Аствелл решительно встала на мою защиту и смело возражала сэру Рубену.

Она умолкла. Лицо Пуаро было очень мрачным.

— Вот, мадемуазель, — сказал он, — мы и дошли до того вечера, когда произошло убийство.

Лили сглотнула слюну и кивнула.

— Прежде всего, мистер Пуаро, я должна сказать вам, что мой брат вновь был здесь, и я договорилась с ним о встрече. Я действительно в тот вечер поднялась к себе, но не легла спать.

Я подождала, пока все в доме улягутся, затем прокралась вниз и вышла через боковую дверь. Я увиделась с Хамфри и коротко рассказала ему о том, что произошло. Я сказала Хамфри, что нужные ему деловые бумаги сэра Рубена находятся в сейфе в кабинете, и мы решились на последний отчаянный шаг — попытаться в ту же ночь завладеть ими.

Я должна была войти в дом первой и убедиться, что путь свободен. Входя через боковую дверь, я слышала, как церковный колокол пробил полночь. Я была на середине лестницы, ведущей в кабинет, когда вдруг услышала громкий звук, как будто упало что-то тяжелое, и затем крик «О, господи!». Через минуту дверь из кабинета открылась, и оттуда вышел Чарлз Леверсон. В лунном свете мне хорошо было видно его лицо, а сама я притаилась на лестнице в темноте, и он не видел меня. Он походил на привидение. Стоял наверху, немного покачиваясь, и, казалось, к чему-то прислушивался. Потом он с видимым усилием заставил себя открыть дверь кабинета, крикнул что-то вроде «Все в порядке». Голос звучал весело и беспечно, но лицо выдавало его. Он выждал еще минуту, а затем медленно поднялся по лестнице и исчез из виду.

Когда он ушел, я подождала немного, потом подкралась к двери кабинета. Я чувствовала, что случилось что-то трагическое. Большой свет в кабинете был выключен, но на столе горела лампа, и в ее свете я увидела сэра Рубена, лежащего на полу у стола. Как я только не умерла от ужаса! Все же я заставила себя подойти и опуститься рядом с ним на колени. Я сразу же поняла, что он мертв, — убит ударом по голове сзади, — и что убит недавно. Я прикоснулась к его руке — она была еще теплой. Это было просто ужасно, мистер Пуаро. Ужасно!

— А потом? — спросил Пуаро, пристальным взглядом глядя на нее.

Лили Маргрэйв кивнула.

— Да, мистер Пуаро. Я знаю, о чем вы думаете. Почему я сразу же не подняла тревогу? Я должна была это сделать, знаю, но когда я стояла там на коленях, меня молнией пронзила мысль, что мой конфликт с сэром Рубеном, мои тайные ночные уходы из дома и встречи с Хамфри и то, что завтра мне предстоит получить расчет и уехать отсюда,— все это выстраивается в фатальную последовательность. Они скажут, что я открыла Хамфри входную дверь, и он убил сэра Рубена из мести. Если я заявлю, что видела, как Чарлз Леверсон выходил из кабинета, мне никто не поверит.

Это было ужасно, мистер Пуаро! Я стояла на коленях рядом с трупом и думала, думала, чувствуя, что схожу с ума. Вдруг я увидела ключи сэра Рубена, выпавшие из его кармана. Среди них был и наборный ключ от сейфа. Слово-пароль я знала: леди Аствелл однажды при мне назвала его. Я подошла к сейфу, мистер Пуаро, открыла его и начала просматривать бумаги.

Наконец, я нашла то, что искала. Хамфри был абсолютно прав. За кампанией «Золото Мпалы» стоял сэр Рубен, который намеренно обманул Хамфри. Это только ухудшило дело. Хамфри теперь имел совершенно ясный мотив для того, чтобы совершить это преступление. Я положила бумаги обратно в сейф, оставила ключ в замке и поднялась в свою комнату. Утром, когда горничная обнаружила труп, я притворилась, что поражена этим и объята ужасом, как и все.

Она остановилась, жалобно взглянула на Пуаро.

— Вы верите мне, мистер Пуаро? Скажите, что вы мне верите!

— Я верю вам, мадемуазель, — сказал Пуаро. — Вы объяснили многие загадки, не дававшие мне покоя. Например, то, что вы, будучи абсолютно уверенной в том, что это преступление совершил Чарлз Леверсон, тем не менее настойчиво пытались не допустить моего приезда сюда.

Лили кивнула.

— Я боялась вас, — откровенно призналась она. — Леди Аствелл не могла знать, как знала я, что Чарлз виновен, а сказать я ничего не могла. В глубине души я надеялась, что вы откажетесь браться за это дело.

— Если бы не это ваше столь явное желание, я так бы и сделал, — сухо сказал Пуаро.

Лили кротко взглянула на него, ее губы слегка дрожали.

— А сейчас, мистер Пуаро, что... что вы намерены предпринять?

— Что касается вас, мадемуазель, — ничего. Я верю вам и принимаю ваши объяснения. Теперь мне надо съездить в Лондон и встретиться с инспектором Миллером.

— И тогда?

— И тогда — увидим.

Выйдя из комнаты, он еще раз взглянул на маленький кусочек зеленого шифона с пятном.

— Потрясающе, — вполголоса сказал он с гордостью. — Потрясающее мастерство Эркюля Пуаро.

* * *

Инспектор Миллер не был в восторге от Эркюля Пуаро. Он не принадлежал к той небольшой группе инспекторов Скотланд-Ярда, которые приветствовали помощь маленького бельгийца. Он часто повторял, что Эркюля Пуаро слишком захвалили. В нынешнем деле он чувствовал себя уверенно и потому встретил Пуаро в хорошем настроении.

— Вы ведете расследование по поручению леди Аствелл? Ну, с этим дело вы попали впросак.

— Значит, нет никакого сомнения?

Миллер подмигнул ему.

— Яснее не бывает: убийца разве только не схвачен прямо на месте преступления.

— И мистер Леверсон признал свою вину?

— Уж лучше бы он вообще ничего не говорил, — сказал детектив. — Он упрямо твердит, что в тот вечер пошел сразу к себе и даже близко не подходил к своему дяде. Глупое вранье.

— Да, это, разумеется противоречит свидетельским показаниям, — негромко сказал Пуаро. — Какое он на вас произвел впечатление — этот молодой мистер Леверсон?

— Молод и чертовки глуп.

— Слабый тип?

Инспектор кивнул в ответ.

— Даже не верится, что у столь робкого молодого человека хватило пороху на такое преступление.

— По первому впечатлению — да, — согласился инспектор. — Но, уверяю вас, я видел и не такое. Возьмите слабого и никчемного молодого человека, загоните его в угол, предоставьте ему возможность слегка злоупотреблять алкоголем, и в краткий срок он превратится в пожарителя огня. Слабый человек, будучи загнанным в угол, опаснее сильного.

— Да, это так, вы верно говорите.

Миллер, имевший и без того весьма самодовольный вид, напыжился еще больше.

— Конечно, мистер Пуаро, с вами все в порядке, — сказал он. — ваши деньги вы все равно получите, и, конечно, для того, чтобы удовлетворить мадам, вам приходится делать вид, будто вы изучаете все улики и показания. Это все я понимаю.

— Вы понимаете такие тонкие вещи, — вполголоса сказал Пуаро и распрощался.

Следующий визит он нанес адвокату, представлявшему интересы Чарлза Леверсона. Мистер Мэйхью был сухим, поджарым джентльменом. Осторожный и сдержанный, он принял Пуаро холодно. У Пуаро, однако, были свои методы внушить человеку доверие. Через десять минут они уже беседовали как союзники.

— Поймите — сказал Пуаро, — я действую в интересах мистера Леверсона. Таково желание леди Аствелл. Она убеждена в том, что он невиновен.

— Да, да, разумеется, — ответил мистер Мэйхью без энтузиазма.

Пуаро подмигнул.

— Вы, вероятно, не придаете большого значения мнению леди Аствелл, — предположил он.

— Завтра она, возможно, будет столь же уверена в его виновности, — сухо заметил адвокат.

— Конечно, ее интуиция — не улика, — согласился Пуаро, — и на первый взгляд дело оборачивается очень плохо для этого бедного молодого человека.

— Жаль, что он уже говорил в полиции о том, что делал в тот вечер, — сказал юрист. — Он упрямо держится одной версии, и ничего хорошего из этого не выйдет.

— Он и вам повторил эту версию? — спросил Пуаро.

Мэйхью кивнул.

— Она не меняется ни на йоту. Он твердит ее, как попугай.

— И именно это подрывает ваше доверие к нему, — тихо произнес его собеседник. — «Ну-ну, не отрицайте, — быстро добавил он, предостерегающе подняв руку. — Я это ясно вижу. В глубине души вы считаете его виновным. А сейчас послушайте меня, меня — Эркюля Пуаро. Я расскажу вам другую версию.

Вот этот молодой человек возвращается домой. Он выпил коктейль, еще один коктейль и еще один, а также, несомненно, английское виски — неоднократно. В голове его бродит хмель, — как это у вас говорят? — ему море по колено, — и вот в таком настроении он открывает дверь своим ключом, входит в дом и, нетвердыми шагами поднявшись наверх, подходит к кабинету. Он открывает дверь, заглядывает в комнату и в тусклом свете видит своего дядю, склонившегося над столом в рабочей позе.

Как мы уже отметили, мистеру Леверсону тогда было море по колено. И он высказывает своему дяде все, что он о нем думает.

Он бросает ему открытый вызов, и то, что тот в ответ не говорит ни слова, оскорбляет его и разжигает его гнев. Он повторяется, говорит одно и то же снова и снова, с каждым разом все громче. Но, наконец, он обращает внимание на длительное молчание дяди. Он подходит ближе, кладет руку ему на плечо, и от этого прикосновения тело безжизненно падает на пол.

Он моментально трезвеет, этот мистер Леверсон. С грохотом падает стул, он склоняется над сэром Рубеном. Он понимает, что произошло. Смотрит на свои руки, испачканные чем-то теплым и красным. И вот он уже в панике. Он бы отдал все на свете за возможность вернуть назад крик, только что сорвавшийся с его губ и эхом прокатившийся по дому. Механически он поднимает стул, потом выбирается из комнаты и прислушивается. Ему слышится какой-то звук, и он тут же — чисто автоматически — изображает беседу с дядей через открытую дверь. Звук не повторяется. Теперь он уверен, что ему просто почудилось. В полной тишине он тихонько поднимается этажом выше, в свою комнату, и тут ему приходит в голову, что лучший выход для него — заявить, что в тот вечер он вообще не входил в дядин кабинет. И эту версию он позже излагает. Парсонс, напомню, тогда еще не сказал ни слова о том, что слышал. А когда он заговорил, мистеру Леверсону было уже поздно что-то менять. Он глуп и упрям — он намертво держится за свою версию. А теперь скажите мне, месье, разве это невозможно?

— Да, — ответил адвокат, — полагаю, что так, как вы изложили дело, — это возможно.

Пуаро встал.

— У вас есть возможность видеться с мистером Леверсоном, — сказал он. — Перескажите ему мои слова и спросите его, правда ли это.

Выйдя из конторы адвоката, Пуаро остановил такси.

— Харли-стрит, номер триста сорок восемь, — негромко попросил он шофера.

* * *

Отъезд Пуаро в Лондон явился для леди Аствелл полной неожиданностью, так как ее маленький гость ни единым словом не обмолвился о своих планах. Когда после двадцатичетырехчасового отсутствия он вернулся, Парсонс сообщил ему, что леди Аствелл желала бы поговорить с ним как можно скорее. Пуаро нашел мадам в ее будуаре. Она полулежала на кушетке, подложив под голову подушечки. Пуаро был поражен ее видом. Она выглядела изможденной и больной.

— Итак, вы вернулись, мистер Пуаро?

— Да, миледи.

— Вы были в Лондоне?

Пуаро кивнул.

— Вы не говорили мне, что собираетесь в Лондон, — резко сказала леди Аствелл.

— Тысяча извинений, миледи. Я виноват. Мне следовало это сделать. La prochaine fois*...

— Вы поступите точно так же,— перебила его леди Аствелл, улыбнувшись. — Сначала действовать, а потом объясняться — это именно ваш девиз.

— Может быть, это также и ваш девиз, миледи? — Его глаза озорно заблестели.

— Пожалуй, — иногда, — согласилась она. — Зачем вы ездили в Лондон, мистер Пуаро? Надеюсь, сейчас вы уже можете мне сказать?

— Я беседовал с милейшим инспектором Миллером, а также с чудесным мистером Мэйхью.

Леди Аствелл впилась в него глазами.

— И теперь вы полагаете..., — медленно проговорила она.

— Что невиновность Чарлза Леверсона не исключена, — торжественно произнес Пуаро.

— Ага! — Леди Аствелл подскочила, и две подушечки полетели на пол. — Так я была права, права!

— Я сказал, не исключена, мадам, — всего лишь.

Очевидно, что-то в его тоне удивило ее. Она приподнялась на локте и пристально поглядела на него.

— Могу я чем-нибудь помочь? — спросила она.

Он кивнул.

— Можете. Леди Аствелл, вы можете рассказать мне, почему вы подозреваете Оуэна Трефусиса.

— Я уже говорила вам: я з н а ю — вот и все.

— К сожалению, этого недостаточно, — сухо сказал Пуаро. — Вернитесь мысленно к тому трагическому вечеру, миледи. Припомните все малейшие детали, все мельчайшие события. Что в поведении секретаря привлекло ваше внимание?

Леди Аствелл покачала головой.

— В тот вечер я вообще едва замечала его, — сказала она, — и думала я, конечно, не о нем.

— Вас занимало что-то другое?

— Да.

— Враждебность вашего мужа по отношению к Лили Маргрэйв?

— Верно, — сказала леди Аствелл и кивнула головой. — Похоже, вам об этом все известно.

— Да, я знаю все, — заявил маленький человек, и вид его в этот момент был величественен до смешного.

— Я люблю Лили, мистер Пуаро, — вы сами в этом убедились. Рубен поднял шум о каких-то ее рекомендациях. Учтите, я не говорю, что тут она не схитрила. Она обманула меня. Но, боже мой, в молодые годы я проделывала и не такие шутки. Чтобы ладить с театральными режиссерами, приходилось идти на всякие ухищрения. В те времена я бы могла написать и заявить все, что угодно.

Лили хотела получить это место, и она провела это дело очень ловко, но не совсем... так, как надо. Ох, мужчины в этих случаях ведут себя так глупо. Можно было подумать, что Лили — банковский кассир, сбежавший с миллионами, — так он кипятился. Весь вечер я ужасно волновалась. Рубен, бедняжка, временами бывал очень упрям, хотя обычно мне в конце концов удавалось настоять на своем. Так что мне тогда было не до секретаря, да и вообще, не очень-то мистер Трефусис заметен. Он просто присутствует — и все.

— Это свойство мистера Трефусиса я заметил, — сказал Пуаро. — Он не из тех людей, кто привлекает внимание.

— Нет, — сказала леди Аствелл, — он не то, что Виктор.

— Мистер Виктор Аствелл, я бы сказал, взрывоопасен.

— Это слово подходит к нему, как нельзя лучше, — сказала леди Аствелл. — Он громыхает по всему дому, как эти — как их?— штуки для фейерверков.

— Буйный темперамент, как я понимаю? — спросил Пуаро.

— О, это сущий дьявол, когда на него находит, — сказала леди Аствелл, — но я, слава богу, не боюсь его. Виктор грозен только с виду.

Пуаро поднял глаза к потолку.

— И о секретаре в тот вечер вы мне ничего не можете рассказать?

— Говорю вам, мистер Пуаро, я з н а ю. Это интуиция. А женская интуиция...

— Преступника не повесит, — сказал Пуаро, — и, что более важно, — не спасет человека от петли. Леди Аствелл, если вы действительно искренне верите, что мистер Леверсон невиновен и что есть какие-то основания подозревать секретаря, — не согласитесь ли вы на маленький эксперимент?

— Какой эксперимент? — подозрительно спросила леди Аствелл.

— Вы позволите ввести себя в гипнотическое состояние?

— Зачем это?

Пуаро подался вперед.

— Если я скажу вам, мадам, что ваша интуиция основана на некоторых фактах, воспринятых вами подсознательно, вы, вероятно, отнесетесь к этому скептически. И поэтому я только скажу, что предлагаемый мной эксперимент может оказаться очень важным для этого несчастного молодого человека Чарлза Леверсона. Вы не откажетесь?

— И кто же введет меня в транс? — требовательно спросила леди Аствелл. — Вы?

— Если я не ошибаюсь, в эту минуту к дому подъезжает мой друг. Я слышу шум машины.

— Кто он?

— Доктор Казале с Харли-стрит.

— А он... хороший доктор? — опасливо спросила леди Аствелл.

— Он не шарлатан, если вы это имеете в виду. Вы можете спокойно довериться ему.

— Ну что ж, — со вздохом сказала леди Аствелл. — По-моему все это чепуха, но, если хотите, можете попробовать. Никто не скажет, что я вам мешала.

— Тысяча благодарностей, миледи.

Пуаро поспешно вышел из комнаты. Через минуту он вернулся и пропустил вперед маленького, бодрого, круглолицего человека в очках. Весь его облик разительно отличался от представления леди Аствелл о том, как должен выглядеть гипнотизер.

Пуаро познакомил их.

— Ну, с чего мы начнем нашу игру? — добродушно спросила леди Аствелл.

— С простого, леди Аствелл, с самого простого, — сказал маленький доктор. — Подайтесь немного назад — так, хорошо, хорошо. И будьте спокойны.

— Я абсолютно спокойна, —

* В следующий раз

сказала леди Аствелл. — Хотела бы я видеть человека, который сумел бы загипнотизировать меня против моей воли.

Доктор Казале улыбнулся.

— Да, но раз вы согласились, это ведь не будет против вашей воли? — бодро спросил он. — Так, хорошо. Мистер Пуаро, прошу вас, выключите верхний свет. Леди Аствелл, постарайтесь уснуть.

Он уселся поудобнее.

— Уже поздно. Вам хочется спать... ужасно хочется спать. Ваши веки тяжелеют, глаза закрываются... закрываются. Скоро вы будете спать...

Его монотонный голос звучал приглушенно и ровно убаюкивал. Доктор наклонился вперед и осторожно приподнял правое веко леди Аствелл. Потом, повернувшись к Пуаро, кивнул с довольным видом.

— Все в порядке, — тихо сказал он. — Продолжать?

— Да, прошу вас.

Доктор заговорил сурово и властно: — Вы спите, леди Аствелл, но вы слышите меня и можете отвечать на мои вопросы.

Женщина на диване не шевелилась, глаза ее оставались закрытыми, но в ответ прозвучал тихий ровный голос: — Я слышу вас. Я могу отвечать на ваши вопросы.

— Леди Аствелл, я хочу, чтобы вы вернулись к тому вечеру, когда был убит ваш муж. Вы помните этот вечер?

— Да.

— Итак, вы за обеденным столом. Опишите, что вы видите и чувствуете.

Женщина, до этого момента лежавшая неподвижно, беспокойно зашевелилась.

— Я очень расстроена. Меня беспокоит Лили.

— Это мы знаем. Расскажите нам, что вы видите.

— Виктор жадно набросился на соленый миндаль. Он съел все сам. Завтра скажу Парсонсу, чтоб он не ставил блюдо с этой стороны стола.

— Продолжайте, леди Аствелл.

— Рубен сегодня не в духе. Не думаю, что из-за Лили. Это что-то, связанное с его делами. Виктор странно смотрит на него.

— Леди Аствелл, расскажите нам о мистере Трефусисе.

— Левая манжета его рубашки совсем истрепалась. И он слишком обильно смазывает волосы кремом. Мне не нравится, когда мужчины так делают: это портит чехлы в гостиной.

Казале взглянул на Пуаро. Тот кивнул.

— Вечер того же дня. Вы пьете кофе. Опишите мне эту сцену.

— Кофе сегодня хорош. Так бывает не всегда. Наша кухарка в отношении кофе очень ненадежна. Лили все время смотрит в окно — не знаю почему. Вот в комнату входит Рубен. Он в превосходном настроении и обрушивается с потоком оскорблений на бедного мистера Трефусиса. Мистер Трефусис зажал в руке нож для резки бумаги — большой с острым лезвием, как у настоящего ножа. Как крепко он его держит — костяшки пальцев совсем побелели. Я вижу — он с такой силой вонзил его в стол, что крышка треснула. Он держит нож так, как будто это кинжал, который он хочет вонзить в кого-то. Так, теперь они выходят вместе. Лили в своем вечерном зеленом платье. Зеленое ей так идет — она совсем, как лилия. На следующей неделе надо будет почистить чехлы.

— Минуту, леди Аствелл.

Доктор наклонился к Пуаро.

— Пожалуй, ясно, — прошептал он. — Этот эпизод с ножом для бумаги — он убедил ее в том, что убил именно секретарь.

— Теперь перейдем в кабинет.

Доктор кивнул и вновь начал задавать леди Аствелл вопросы своим резким голосом.

— Тот же вечер — позднее. Вы в кабинете со своим мужем. У вас произошла ужасная сцена, верно?

Она снова беспокойно пошевелилась.

— Да... ужасная... ужасная. Мы оба... говорили такие чудовищные вещи...

— Успокойтесь. Итак, вы отчетливо видите всю комнату. Шторы задернуты, свет включен, так?

— Верхний свет — нет, только настольная лампа.

— Вот вы прощаетесь с мужем, желаете ему спокойной ночи.

— Нет, я слишком рассержена.

— Вы видите его в последний раз. Вскоре он будет убит. Вы знаете, кто его убил, леди Аствелл?

— Да. Мистер Трефусис.

— Откуда вы это знаете?

— Из-за этой портьеры... она висела как-то неровно, выпирала в одном месте.

— Портьера выпирала?

— Да.

— И вы видели эту выпуклость?

— Да, я едва не коснулась ее.

— Там прятался человек? Это был мистер Трефусис?

— Да.

— Почему вы так считаете?

Тут впервые монотонный голос, дававший ответы, прозвучал после большой паузы и не столь уверенно.

— Я... я... из-за ножа для бумаги.

Пуаро и доктор снова быстро обменялись взглядами.

— Я вас не понимаю, леди Аствелл. Итак, за портьерой кто-то скрывался. Вы не видели этого человека?

— Нет.

— И вы решили, что это был мистер Трефусис по тому, как он держал нож для бумаги?

— Да.

— Но ведь мистер Трефусис поднялся к себе?

— Да... да, верно, он ушел к себе.

— Значит, он не мог в это время быть в кабинете за портьерой?

— Нет... нет, конечно, это был не он.

— Он пожелал вашему мужу доброй ночи и ушел, так?

— Да.

— И больше в тот вечер вы его не видели?

— Нет.

Она заметалась и слабо застонала.

— Она выходит из транса, — сказал доктор. — Полагаю, мы выяснили все, что могли.

Пуаро кивнул. Доктор склонился над леди Аствелл.

— Вы просыпаетесь, — мягко сказал он. — Вы просыпаетесь. Сейчас вы откроете глаза.

Двое мужчин терпеливо ждали. И вот леди Аствелл очнулась, села, взглянула на них.

— Я что, спала?

— Именно, леди Аствелл. Вы немного вздремнули, — ответил доктор.

Она посмотрела на него.

— Это один из ваших фокусов-покусов?

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

Леди Аствелл зевнула.

Доктор поднялся.

— Я попрошу принести вам кофе, — сказал он. — А сейчас мы вас покинем.

— Я что-нибудь... сказала? — вопрос леди Аствелл настиг их у самых дверей.

Пуаро повернулся к ней, улыбнулся.

— Ничего существенного, мадам. Вы сообщили нам, что чехлы в гостиной нуждаются в чистке.

— Это правда, — сказала леди Аствелл. — Не стоило ради этого вводить меня в транс.

Она добродушно засмеялась.

— И больше ничего?

— Не помните ли вы, взял ли мистер Трефусис в тот вечер в гостиной в руки нож для резки бумаги? — спросил Пуаро.

— Я не уверена, — ответила леди Аствелл. — Может быть и взял.

— Вам что-нибудь говорят слова «выпуклость на портьере»?

Леди Аствелл задумалась.

— Что-то я припоминаю... — медленно произнесла она. — Нет, не могу вспомнить. И все-таки...

— Не беспокойтесь, леди Аствелл, — быстро сказал Пуаро. — Это не важно, это совершенно не важно.

Пуаро проводил доктора в свою комнату.

— Так, теперь, я думаю, многое прояснилось, — сказал Казале. — Несомненно, когда сэр Рубен учинил разнос секретарю, тот крепко сжал нож для бумаги, — ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не возразить в ответ. Все внимание и мысли леди Аствелл в тот момент были поглощены проблемой Лили Маргрэйв, но подсознательно она запомнила это действие и неверно истолковала его. Этим и объясняется ее столь твердое убеждение в том, что сэра Рубена убил Трефусис. А теперь насчет этой фигуры за портьерой. Это интересно. Из вашего описания кабинета я понял, что стол стоит прямо у окна. Окно, конечно, закрыто портьерой?

— Да, mon ami, черной бархатной портьерой.

— И в нише у окна достаточно места, чтобы за этой портьерой мог укрыться человек?

— Пожалуй, достаточно.

— Значит, по крайней мере есть вероятность, что кто-то прятался в комнате, но если и так, то это не мог быть секретарь, потому что оба они видели, как он вышел из кабинета. Это не мог быть Виктор Аствелл, потому что Трефусис встретил его выходя, и это не могла быть Лили Маргрэйв. Кто бы это ни был, этот человек должен был спрятаться там до того, как в кабинет вошел сэр Рубен. Как насчет капитана Нейлора? Это мог быть он?

— Конечно, это возможно, — согласился Пуаро. — Обедал он, безусловно, в отеле, но как скоро он после этого ушел, — точно установить трудно. Вернулся он примерно в половине двенадцатого.

— Тогда это мог быть он, — сказал доктор, — и, если так, то и убийство совершил он. У него был мотив, а тут под рукой оказалось орудие убийства. Но вы, по-моему, этой версией не удовлетворены?

— У меня есть другие идеи, — признался Пуаро. — Скажите, месье le Docteur*, если на секунду предположить, что леди Аствелл сама совершила это преступление, — она непременно должна была рассказать об этом в состоянии гипноза?

Доктор присвистнул.

— Вот вы куда? Леди Аствелл — преступница? Конечно... Это не исключено. Я как-то до этой минуты не думал о такой возможности. Она последней была с ним — после нее никто уже не видел его живым. Что же касается вашего вопроса, то я бы ответил отрицательно. В этом случае леди Аствелл могла перейти в гипнотическое состояние, преисполнившись твердо осознанным намерением не сказать ничего о собственном участии в этом преступлении. За этим исключением она бы отвечала правдиво на все мои вопросы. Но вот по этому единственному пункту она бы осталась тверда. Правда, в этом случае она бы вряд ли столь настойчиво заявляла о виновности мистера Трефусиса.

— Понимаю, — сказал Пуаро.— Но ведь я не сказал, что считаю леди Аствелл преступницей. Это всего лишь предположение.

— Это дело очень интересно, — сказал доктор, помолчав минуту. — Если предположить, что Чарлз Леверсон невиновен, открывается столько возможностей — Хамфри Нейлор, леди Аствелл и даже Лили Маргрэйв.

— Вы забыли еще одну, — бесстрастно сказал Пуаро. — Виктор Аствелл. По его словам, он сидел в своем кабинете — дверь была открыта — и ждал возвращения Чарлза Леверсона, но подтвердить это некому, вы понимаете?

— Это тот тип с буйным характером, о котором вы мне говорили?, — спросил доктор.

— Да, это он, — подтвердил Пуаро.

Доктор встал.

— Мне нужно возвращаться в город. Пожалуйста, держите меня в курсе событий.

После ухода доктора Пуаро звонком вызвал Джорджа.

— Чашку tisane*, Джордж. Мне надо успокоить нервы.

— Да, сэр, — сказал Джордж.— Я сейчас приготовлю.

Через десять минут он принес своему хозяину дымящуюся чашку. Пуаро с удовольствием вдохнул терпкий аромат. Отпивая из чашки маленькими глотками, он размышлял вслух.

— Есть разные виды охоты. Чтобы поймать лису, надо мчаться с собаками во весь дух и кричать — тут все решает скорость. На оленя мне охотиться не приходилось, но я знаю, что для успеха в этом деле нужно много часов проползать на животе. Мне об этом рассказывал мой друг, капитан Гастингс. А наш метод в этом деле, добрый мой Джордж, должен быть отличен и от одного, и от другого. Давайте вспомним, как охотится домашний кот. Много часов он напряженно следит за маленькой дырочкой, откуда может появиться мышь. Он не движется, внешне он совершенно пассивен, но... он не уходит из засады.

---

* Доктор

* Крепкий настой из трав

Он вздохнул и поставил пустую чашку на блюдце.

— Ранее я просил вас приготовить мои вещи в расчете на пару дней. Завтра вы съездите в Лондон и привезете сюда все необходимое на две недели.

— Очень хорошо, сэр, — сказал Джордж.

Как всегда, он оставался совершенно спокоен.

• • •

Столь длительное пребывание Эркюля Пуаро в Мон-Репо раздражало многих. Виктор Аствелл громко возмущался.

— Слушай, Нэнси. Ты не знаешь, что это за люди. Он тут устроился с комфортом и, похоже, собирается пожить здесь с месяц в свое удовольствие, а потом он еще запросит с тебя плату из расчета две гинеи в день.

Ответ леди Аствелл сводился к тому, что свои проблемы она может решать без посторонней помощи.

Лили Маргрэйв изо всех сил старалась скрыть свое смятение. До сих пор она была убеждена в том, что Пуаро ей поверил. Теперь она не была в этом уверена.

Свою роль Пуаро вел активно. На пятый день пребывания в доме он появился в столовой с небольшим альбомом для снятия отпечатков пальцев. Сколь бы грубой и бестактной не считали эту процедуру, отказаться от нее никто не посмел. И только после того, как маленький человечек ушел к себе, Виктор Аствелл выразил свое мнение.

— Видишь, Нэнси, он подозревает кого-то из нас.

— Ну что ты говоришь, Виктор! Мистер Пуаро знает, что делает.

В другой раз Пуаро, искусно притворившись, сделал вид, что переносит на лист бумаги контуры какого-то следа.

Когда на следующее утро детектив своей кошачьей походкой вошел в библиотеку, Оуэн Трефусис был до того напуган его внезапным появлением, что подскочил в кресле, как от удара.

— Извините меня, мистер Пуаро, — произнес он, — но все мы в таком изпряжении.

— Действительно? А почему?— невинно спросил маленький человечек.

— Признаюсь, — сказал секретарь, — я полагал, что улики против сэра Чарлза Леверсона совершенно неопровержимы. Но вы, очевидно, так не считаете.

Пуаро, стоя у окна, смотрел сквозь стекло. Неожиданно он повернулся.

— Я вам кое-что скажу, мистер Трефусис, — конфиденциально.

— Да?

Пуаро не торопился. Он выждал минуту, словно колеблясь. Когда он, наконец, заговорил, вместе с первыми его словами послышался звук открываемой входной двери. Для человека, собиравшегося сообщить что-то собеседнику строго конфиденциально, он говорил довольно громко, и голос его заглушал звуки шагов в вестибюле.

— Я вам кое-что расскажу, мистер Трефусис, но строго между нами. Есть новые факты. Из них вытекает, что, когда в тот вечер Чарлз Леверсон вошел в кабинет, сэр Рубен был уже мертв.

Секретарь смотрел на него расширенными глазами.

— Но что это за факты? Почему мы ничего о них не слышали?

— Еще услышете, — таинственно произнес Пуаро. — А пока только мы с Вами знаем об этом.

Он проворно выскользнул из комнаты и тут же столкнулся с Виктором Аствеллом.

— Вы только что вошли, месье?

Аствелл кивнул.

— Ужасная погода, — сказал он, тяжело дыша, — чертовски холодно и ветрено.

— Вот как? — сказал Пуаро. — Я сегодня, пожалуй, не выйду на прогулку. Я ведь, как кошка, — люблю посидеть у огня и погреться.

— Ça marche*, Джордж, — сказал он вечером своему слуге, потирая руки. — Они на крючке. Теперь — прыжок. Играть роль кошки и выжидать, — это очень трудно, но зато приносит успех,— да, это дает прекрасные результаты. Завтра мы продвинемся еще дальше.

На следующий день Трефусис должен был ехать в Лондон. И он уехал. Тем же поездом уехал Виктор Аствелл. Как только они вышли из дома, Пуаро развил бурную деятельность.

— Быстро, Джордж, за работу. Если горничная подойдет к этим комнатам, задержите ее. Заговорите ее комплиментами — удержите ее в коридоре.

Сначала он вошел в комнату секретаря и принялся за тщательный осмотр. Он открыл каждую дверцу, заглянул на каждую полочку. Затем быстро вернул все вещи на свои места и объявил Джорджу, что осмотр завершен. Джордж, стоявший на посту в дверях, деликатно кашлянул.

— Простите, сэр.

— Да, мой любезный Джордж.

— Туфли, сэр. Две коричневые пары были на второй полке, а те, из мягкой кожи, — на нижней. Вы их переставили и нарушили порядок.

— Превосходно! — сказал Пуаро, подняв руки в восхищении.— Но не будем из-за этого расстраиваться. Это ведь не важно. Мистер Трефусис не обратит внимания на такой пустяк.

— Как вам будет угодно, сэр.

— Это по вашей части — замечать такие вещи, — сказал Пуаро с одобрением и похлопал Джорджа по плечу. — Я полагаюсь на вас.

Слуга не ответил. Позже, во время подобной же процедуры в комнате Виктора Аствелла, он, хотя и заметил, что белье легло в шкаф не совсем в том порядке, в каком лежало раньше — уже не сказал ничего. Дальнейшие события все же показали, что по крайней мере во втором случае слуга был прав, а Пуаро ошибался. Виктор Аствелл ворвался вечером в гостиную подобно буре.

— Ну, вы, чертов маленький бельгийский выскочка, что это вы вздумали обыскивать мою комнату? Какого дьявола вы там искали? Со мной этот номер не пройдет, слышите? Вот что значит держать в доме ищейку — всюду сует свой нос.

Пуаро поднял обе руки, красноречиво выражая свое смирение. Водопадом заструились торопливые, путаные слова. Он приносит сто, тысячу, миллион извинений. Он был столь бестактен, столь назойлив... Он смущен и расстроен. Он слишком много себе позволил. В конце концов разъяренному джентельмену пришлось ослабить напор, хотя он еще долго ворчал.

Вечером, потягивая свой lisane, Пуаро снова негромко сказал Джорджу:

— Дело движется, мой дорогой Джордж, да, движется, — и добавил задумчиво. — Пятница — это мой счастливый день. — Вы, дорогой мой Джордж, вероятно, не суеверны?

— Я стараюсь не садиться за стол тринадцатым, сэр, и не проходить под лестницами. Против пятницы я не возражаю.

— Это хорошо, — сказал Пуаро, — потому что, видите ли, — завтра — наше Ватерлоо.

— Да, сэр.

— Вы полны энтузиазма, мой любезный Джордж. Вы даже не спрашиваете, что я намерен сделать.

— Что, сэр?

— Завтра, Джордж, я проведу последний тщательный осмотр кабинета.

И действительно, после завтрака Пуаро с разрешения леди Аствелл отправился на место преступления. Многие из слуг видели его в кабинете в тот день: он ползал на четвереньках, пристально разглядывал черные бархатные портьеры, взбирался на высокие стулья, чтобы осмотреть рамы висевших на стене картин. Леди Аствелл впервые выразила неудовольствие.

— Должна признать, — сказала она, — он начинает действовать мне на нервы. Он что-то задумал, и я не знаю что. Меня просто мутит от этого ползанья по полу — ну, точно как собака. Что он ищет, хотела бы я знать. Лили, дорогая моя, поднимитесь, пожалуйста, наверх и взгляните, что он там делает. Впрочем, нет, останьтесь лучше со мной.

— Может, я схожу, леди Аствелл? — спросил секретарь.

— Будьте так любезны, мистер Трефусис.

Оуэн Трефусис вышел из комнаты и поднялся по лестнице в кабинет. Сначала он решил, что в кабинете никого нет — не было ни малейшего признака присутствия Эркюля Пуаро. Но уже повернувшись, чтобы уйти, он вдруг услышал какой-то звук. И тут Трефусис увидел его. Маленький человечек стоял на ступеньках спиральной лестницы, ведущей в спальню наверху.

Он стоял на четвереньках, отогнув край лестничного ковра. В его левой руке была маленькая карманная лупа, через которую он внимательно рассматривал что-то на деревянной ступеньке. По-

* Дела идут.

том вдруг хмыкнул, положил лупу в карман и поднялся на ноги. Между пальцами он держал какой-то очень маленький предмет. Наконец, он обнаружил присутствие секретаря.

— А, мистер Трефусис! Я не слышал, как вы вошли.

Это был уже другой человек. Лицо его излучало ликование. Трефусис смотрел на него удивленно.

— Вы что-то обнаружили, мистер Пуаро? У вас такой довольный вид.

Маленький человек с шумом выдохнул воздух.

— Да, я доволен. Видите ли, я, наконец, нашел то, что искал с самого начала. Я держу одну вещичку, которой достаточно для того, чтобы наказать преступника.

— Значит, — секретарь поднял брови, — это не Чарлз Леверсон?

— Это не Чарлз Леверсон, — сказал Пуаро. — Но и сейчас, хотя я уже много знаю о преступнике, я все еще не могу назвать его имя. Но дело все-таки прояснилось.

Он спустился с лестницы и похлопал секретаря по плечу.

— Я должен немедленно ехать в Лондон. Прошу вас передать мою просьбу леди Аствелл, собрать всех в кабинете сегодня в девять часов. К этому времени я приеду и изложу всю правду. Да, я в этом уверен.

И, прыгая, словно в каком-то фантастическом танце, он выскользнул из комнаты. Пораженный Трефусис застыл, глядя ему вслед.

Через несколько минут Пуаро появился в библиотеке и спросил, не может ли кто-нибудь одолжить ему маленькую картонную коробочку. Трефусис извлек то, что спросил бельгиец. Весьма довольный Пуаро метнулся вверх по лестнице и на полпути встретил Джорджа. Передавая ему коробочку, сказал:

— Тут внутри очень ценная вещь. Вы, дорогой мой Джордж, положите коробочку во второй ящик моего стола рядом со шкатулкой, в которой хранятся мои жемчужные запонки.

— Хорошо, сэр, — ответил Джордж.

— Но будьте очень осторожны, — добавил Пуаро. — Не повредите ее. В ней то, что приведет преступника на виселицу.

— Да, конечно, — сказал Джордж.

Пуаро вновь помчался вниз, схватил шляпу и выбежал из дома.

* * *

Возвращение его было менее шумным. Верный Джордж в соответствии с полученным ранее приказом впустил его через боковую дверь.

— Они все в кабинете? — спросил Пуаро.

— Да, сэр.

Последовал краткий разговор полушепотом, и Пуаро триумфальным шагом победителя вошел в комнату, в которой менее месяца назад произошло убийство. Он обвел взглядом присутствующих. Все были здесь: леди Аствелл, Виктор Аствелл, Лили Маргрэйв, секретарь и Парсонс — дворецкий. Последний в нерешительности переминался у дверей.

— Джордж сказал, что я понадоблюсь, сэр.

— Совершенно верно, — ответил Пуаро. — Прошу вас, останьтесь.

Он вышел на середину.

— Это было очень интересное дело, — сказал он медленно и задумчиво. — Дело интересно потому, что убийство сэра Рубена Аствелла мог совершить кто угодно. Кто наследует его деньги? Чарлз Леверсон и леди Аствелл. Кто последним говорил с ним? Леди Аствелл. Кто бурно поссорился с ним? Снова леди Аствелл.

— О чем это вы говорите? — закричала леди Аствелл. — Я не понимаю. Я...

— Но у сэра Рубена была еще одна ссора, — задумчиво продолжил Пуаро. — Беседа с другим человеком также привела его в ярость в тот вечер. Предположим, что леди Аствелл оставила мужа живым и невредимым в четверть двенадцатого. Тогда до возвращения мистера Чарлза Леверсона было еще десять минут, в течение которых можно было пройти в кабинет с третьего этажа, совершить преступление и вернуться к себе в комнату.

Виктор Аствелл с криком вскочил на ноги.

— Какого черта.., — он задохнулся от гнева.

— В ярости, мистер Аствелл, вы однажды убили человека в Западной Африке.

— Я этому не верю! — закричала Лили Маргрэйв.

Она выступила вперед. Руки ее были сжаты, на щеках горели два ярких пятна.

— Я не верю этому, — повторила девушка и стала рядом с Виктором Аствеллом.

— Это правда, Лили, — сказал Аствелл, — но этот человек знает не всю правду. Тот, кого я убил, был врач-садист, умертвивший пятнадцать детей. Полагаю, я имел на это право.

Лили подошла к Пуаро.

— Мистер Пуаро, — серьезно сказала она, — вы ошибаетесь. Если у человека бурный темперамент, если он временами взрывается и говорит все, что ему вздумается, это вовсе не причина считать его убийцей. Я знаю, я знаю, говорю вам, что мистер Аствелл на такое не способен.

Пуаро посмотрел на нее и улыбнулся. Потом он взял ее руку в свою и ласково похлопал.

— Видите, мадемуазель, — нежно сказал он, — и у вас есть своя интуиция. Значит, вы верите в мистера Аствелла?

Лили ответила спокойно:

— Мистер Аствелл — хороший человек, и он честен. К тому же он не имел никакого отношения к закулисным делам фирмы «Золото Мпалы». Я обещала выйти за него замуж.

Виктор Аствелл подошел к ней и взял другую ее руку.

— Перед богом, мистер Пуаро, — оказал он, — я не убивал своего брата.

— Я это знаю, — ответил Пуаро.

Он обвел взглядом комнату.

— Послушайте, друзья мои. В состоянии гипноза леди Аствелл сказала, что видела в тот вечер контуры какой-то фигуры за портьерой.

Все взгляды устремились к окну.

— Вы хотите сказать, что за ней прятался грабитель? — воскликнул Виктор Аствелл. — Ну конечно, это так просто!

— Да, но это не та портьера, — мягко сказал Пуаро.

Он резко повернулся и указал на портьеру, закрывающую маленькую лестницу.

— Сэр Рубен провел в этой спальне ночь предшествующую убийству. Утром он завтракал в постели, затем вызвал к себе мистера Трефусиса и отдал ему деловые распоряжения. Я не знаю, что забыл мистер Трефусис наверху в спальне, но что-то он там забыл. Когда вечером он распрощался с сэром Рубеном и леди Аствелл, пожелав им спокойной ночи, он вспомнил об этой вещи и бегом поднялся за ней по лестнице. Думаю, ни муж, ни жена этого не заметили, потому что были увлечены своим спором. Когда мистер Трефусис спустился вниз, их беседа уже превратилась в бурную ссору. То, что они говорили друг другу, носило настолько интимный, настолько личный характер, что мистер Трефусис оказался в очень неудобном положении. Как он вскоре понял, они полагали, что он уже вышел из кабинета. И, боясь вызвать гнев сэра Рубена, он решил притаиться там, где стоял, а позже как-нибудь ускользнуть. Он остался там, за портьерой, и, выходя из кабинета, леди Аствелл подсознательно заметила очертания его фигуры.

Когда леди Аствелл ушла из кабинета, он попытался прокрасться к двери, но тут сэр Рубен случайно повернулся и обнаружил присутствие секретаря. Будучи уже и без того в скверном настроении, сэр Рубен оскорбил его, обвинив в преднамеренном подслушивании и слежке.

Мадам и месье! Я изучаю психологию. Ведя это дело, я не искал мужчину или женщину с плохим характером, потому что буйный темперамент сам по себе — своего рода предохранительный клапан. Если собака лает,— она не укусит. Нет, я искал человека с хорошим характером, сдержанного, способного девять лет играть роль спящей собаки. Нет большей боли, чем та, что копится годами, и нет страшней обиды, чем та, что зреет медленно.

Девять лет сэр Рубен издевался над своим секретарем. Он подавлял его, и тот девять лет молча копил в душе обиду и гнев. Но наступает день, когда боль становится невыносимой. И струна рвется! Так случилось в тот вечер. Сэр Рубен вновь уселся за свой стол, но секретарь вместо того, чтобы смиренно повернуться к двери, поднимает тяжелую деревянную дубину и обрушивает ее на голову человека, так долго мучившего его.

Он повернулся к Трефусису, который глядел на него не шевелясь, словно вдруг окаменел.

— У Вас было такое убедительное алиби! Мистер Аствелл считал, что Вы ушли к себе, но никто не видел, как вы входили к себе. В момент, когда вы, убив сэра Рубена, выходили из кабинета, стараясь не шуметь, вы услыхали какой-то звук. Вы бросились назад, в свое убежище — за портьеру. Вы были там, когда Чарлз Леверсон вошел в комнату, вы были там, и когда в кабинете появилась Лили Маргрэйв. И только много позже вам удалось незаметно уйти и подняться в свою комнату. Вы это отрицаете?

Заикаясь, Трефусис заговорил:

— Я.., я... не...

— Ладно! Покончим с этим. Две недели я разыгрывал комедию, я медленно опутывал вас сетью. Отпечатки пальцев, следы обуви и этот обыск в вашей комнате с умышленной перестановкой ваших вещей. Всем этим я вселил в вас ужас. Ночами вы лежали без сна и мучительно пытались решить, остались ли где-либо в кабинете отпечатки ваших пальцев или следы ваших туфель. Снова и снова вы вспоминали события того вечера, стараясь определить, чего вы не сделали или что вы сделали не так. Я довел вас до состояния, в котором вы допустили оплошность. Я видел, как ваши глаза наполнились страхом, когда сегодня я поднял что-то со ступеньки лестницы, на которой вы прятались в ту ночь. А затем я устроил небольшое представление: маленькая коробочка торжественно вручается Джорджу, и я ухожу.

Пуаро повернулся к двери.

— Джордж?

— Я здесь, сэр.

Слуга вышел вперед.

— Расскажите, пожалуйста, этим леди и джентельменам, какие инструкции я вам дал.

— Я должен был положить картонную коробочку туда, куда вы мне велели, и затем спрятаться в шкафу в вашей комнате, сэр. В половине четвертого, сэр, мистер Трефусис вошел в комнату. Он подошел к столу и вынул из него указанную коробочку.

— А была в этой коробочке обыкновенная булавка. Я ведь всегда говорю правду. Сегодня утром я действительно подобрал кое-что на лестнице. У вас, англичан, по-моему, есть такая пословица: «Того, кто булавку нашел с утра, днем ждет удача и много добра». Да, ко мне пришла удача, я нашел убийцу.

Он повернулся к секретарю.

— Вы понимаете? — мягко спросил он. — Вы выдали себя.

И вдруг Трефусис разрыдался. Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками.

— Это было какое-то помешательство, — со стоном произнес он. — Да, помешательство. Но, господи, он мучил меня, он издевался надо мной столько лет! Это было невыносимо. Все эти годы я ненавидел его.

— Я знала, — закричала леди Аствелл.

Она выступила вперед, лицо ее выражало дикое ликование и триумф.

— Я знала, что этот человек виновен.

Она стояла неподвижно — торжествующая победительница.

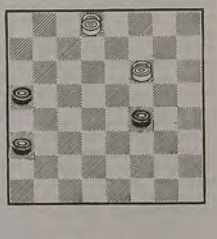
— И вы были правы, — сказал Пуаро. — Это можно назвать по-разному, но факт остается фактом. Ваша интуиция, леди Аствелл, подтвердилась. Я поздравляю вас.

МАТ В 3 ХОДА

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

ШАХМАТЫ. 1. d4! cd 2. Ch4 и 3. b3×; 1... a5 2. Cc1 cd 3. b3×.
ШАШКИ. 1. f4—h6 f6—e5 2. h6—f8 g1—a3 3. f8—d6 e5:c7 4. a7—b8 c7—b6 5. b8—a7 с выигрышем.

Пораскинь умом!

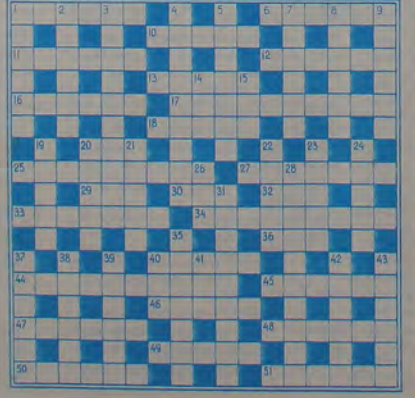


ВЫИГРЫШ

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный в № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штефа. 4. Суфлер. 8. Ас. 10. ЖИ. 11. Мандолина. 13. Нану. 14. Ток. 16. Удар. 17. Диван. 19. Лаборатория. 21. Талер. 23. Крюк. 24. Сет. 25. Юнга. 28. Абрикосов. 29. ЕФ. 31. «Яр». 32. Звезда. 33. Аляска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаганэ. 2. ТС. 3. Анна. 5. Урик. 6. Еж. 7. Рихард. 9. Коноваленко. 11. Миниатюра. 12. Андрианов. 14. Тирас. 15. Катет. 17. Дот. 18. Нор. 20. Экосез. 22. Тамара. 26. Град. 27. Осел. 30. ФВ. 31. Ян.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «А слово Исаковского — ... — Враг на спине в Германию унес» (Э. Иодковский). 6. Продукт овцеводства. 10. Советский поэт, один из переводчиков произведений М. Эминеску на русский язык. 11. Женское имя на карте Греции. 12. Польская писательница, автор романа «Марта». 13. «Бэдицэ...» — так обращался И. Крянгэ к М. Эминеску в своих письмах. 16. Приятный запах. 17. Село в Оргеевском районе, упоминаемое в документах раньше Кишинева. 18. Имя одного из самых популярных героев английского народа. 20. Повар на судне. 25. Столярный инструмент. 27. Советский генетик, растениевод и географ. 29. Персонаж пьесы М. Горького, первый в мировой литературе положительный герой-рабочий. 30. В молдавском языке — кустарник, в русском — полезный напиток. 32. Грамматический класс слов. 33. Персонаж сатирической повести С. Чеха. 34. «Бессмертная...» — поэма Л. Деляну. 36. Место для городошных фигур. 40. Приспособление, защищавшее руку древнего воина от пробивающих щит ударов. 44. Официально принятый распорядок шествия. 45. Опера Ж. Б. Люлли. 46. Дорожка между двумя рядами деревьев. 47. Столица республики, в которой воздвигнут памятник Давиду Сасунскому. 48. Сладкоголосая лесная птица. 49. Роман итальянского писателя А. Моравиа. 50. Тропический сочный плод. 51. Город в России, на улицах которого появился первый автомобиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промысловый вид камбалы. 2. Обязательное устройство бобслея. 3. Советский композитор, назвавший Н. Суланга «настоящей национальной жемчужиной». 4. Село южнее Татарбунар, восточная оконечность Нижнего Траянова вала. 5. Римская монета, самая распространенная в древнем мире. 7. Чесночный соус, приправа молдавской кухни. 8. Автор картины «Утро в сосновом бору». 9. Разновидность атома химического элемента. 14. Город на западе Чехословакии. 15. Космонавт ГДР. 19. Известный филиппинский шахматист. 20. Геометрическое тело. 21. Линия, по которой пытается следовать спортсмен-саночник. 22. Клятва. 23. Сосуд цилиндрической формы с крышкой. 24. Короткая женская одежда. 26. Отдельная книга сочинения. 28. Система сооружений, появившаяся в Кишиневе в 1892 году. 31. Русский писатель, поддерживавший дружеские отношения с В. Крэсеску и З. Арборе. 35. Декоративная лиана, встречающаяся на Кавказе. 37. Крупнейший мексиканский стадион. 38. Героиня оперетты И. Штрауса «Цыганский барон». 39. Наиболее многочисленный народ Эфиопии. 40. Река в Югославии. 41. Большой танцевальный вечер. 42. Старое название столицы союзной республики. 43. Отдельная комната в лечебном заведении.

К. ОНАКЕ

РОК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

BACHMAN-TURNER OVERDRIVE

«Бахмэн-Тёрнер овердрайв», канадская группа. Образовалась в 1972 г. Играла так называемый тяжелый рок-н-ролл, т. е. хард-рок с рок-н-рольной основой.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

RANDY BACHMAN — ГИТАРА, ВОКАЛ (ОН ЖЕ — ПРОДЮСЕР ГРУППЫ),
ROBBIE BACHMAN — УДАРНЫЕ,
C. F. (FRED) TURNER — БАС-ГИТАРА, ВОКАЛ,
TIMMY BACHMAN — ГИТАРА, ВОКАЛ.

ДИСКОГРАФИЯ: Bachman-Turner Overdrive (1973); Bachman-Turner Overdrive II (1973); Not Fragile (1974); Four Wheel Drive (1975); Head On (1975); The Best Of Bto (So Far) (1976); Freeways (1977).

BAD BOYS BLUE

«Бэд Бойз Блю», интернациональное трио. Основано в 1984 г. Живут в ФРГ. Играют несколько «тяжелый» вариант евро-диско.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

ANDREW THOMAS (САН ФРАНЦИСКО),
JOHN MSINERNEY (ЛИВЕРПУЛЬ),
TREVOR TAYLOR (ЯМАЙКА).

ДИСКОГРАФИЯ: Hot Girls, Bad Boys (1985).

BAD COMPANY

«Бэд компани», английская группа. Основана в 1973 г. Первоначально играли хард-рок.

СОСТАВ:

PAUL RODGERS — ВОКАЛ, КЛАВИШНЫЕ, ГИТАРА,
SIMON KIRKE — УДАРНЫЕ,
BOZ BURRELL — БАС-ГИТАРА,
MISK RALPHS — ГИТАРА, КЛАВИШНЫЕ.

ДИСКОГРАФИЯ: Bad Company (1974); Straight Shooter (1975); Rum With the pack (1976); Burnin' Sky (1976); Desolation Angels (1979); Rough Diamonds (1982); Fame Fortune (1986).

BADFINGER

«Бэдфингер», Английская группа. 1968—1975. Мелодичные композиции напоминают музыку «Битлз».

СОСТАВ:

PETE HAM — ВОКАЛ, ГИТАРА, КЛАВИШНЫЕ,
JOEY MOLLAND — ВОКАЛ, ГИТАРА,
TOM EVANS — ВОКАЛ, БАС-ГИТАРА,
MIKE GIBBONS — УДАРНЫЕ.

ДИСКОГРАФИЯ: Magic Christian Music (1970); No Dice (1970), Straight Up (1972); Ass (1974); Badfinger (1974); Wish You Were Here (1975).

JOAN BAEZ

Джоан Баез, американская певица, гитаристка, композитор. Родилась 9 января 1941. В композициях преобладает джаз-роковое начало.

ДИСКОГРАФИЯ: In Cosert Vol. 1. (1962); In Concert Vol. II (1963); Any Day Now (1963); Farewell Angelina (1964); Joan Baez 5 (1964); Noel (1966); Joan (1967); Baptism — A Jorney Through Out Time (1968); Any Day Now (1969); David's Album (1969); One Day At A Time (1970); The First Ten Years (1970); In Italy (1971); Blessed Are ... (1971); Carry On ... (1972); The Joan Baes Ballad Book (1972); Noel (1972); Where Are You Now; Son? (1973); Diamond Rust (1975); Gulf Winds (1976); Honest Lullaby (1979); Very Early Joan (1961—63) (1981); European Tour (1981); Ballad Book (1984).

ANITA BAKER

Анита Бейкер, американская певица, одна из ведущих звезд стиля ретро-соул. Родилась в 1958.

ДИСКОГРАФИЯ: The Songstress (1983), Rapture (1986).

ОХ, УЖ ЭТОТ ЭЛИС КУПЕР!

Почему такой большой популярностью в пионерлагерях пользуются страшные сказки про черные перчатки, стеклянные руки и прочую чертовщину? Над этой загадкой бьются ученые. Одни считают, что таким образом подрастающее поколение готовят себя в отрезочным ситуациям взрослые жизни, другие наоборот, склонны отмечать негативные моменты такого воздействия. Вот мол, оттуда у молодежи неврастении, ночные кошмары, жестокость.

Именно поэтому, по мнению одних, фильмы ужасов вредны для молодежи, а, по мнению других, наоборот, полезны.

Точно так же остается неясным воздействие на нежные души и рок-ужасов. Нужны ли советскому комсомольцу Элис Купер и «Битки Мут», или необходимо их срочно пресечь? Пока окончательного приговора нет, а потому продолжаются концерты, выходят виодискшпы и... наслаждаются юные души.

Мелоклуб

Рубрику ведет А. МАЗУНИН

Молоко

Индекс 76920.
Цена 60 коп.